



Владимир Маканин

Андеграунд, или Герой нашего времени



Владимир Маканин

**Андеграунд, или
Герой нашего времени**

«ЭКСМО»

1998

Маканин В. С.

Андеграунд, или Герой нашего времени / В. С. Маканин —
«Эксмо», 1998

ISBN 978-5-699-44378-9

Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» – один из самых известных русских романов XX века, принесший Владимиру Маканину не только Государственную премию по литературе, но и всемирную известность. Переведенный на десятки европейских языков, этот роман продолжил традицию Героев эпохи, созданных Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Достоевским. Андеграунд – это мир неохватной «общаги» под названием Россия, в ней не выживают пламенные пассионарии-идеалисты, но способны существовать тихие борцы, такие, как Петрович – главный образ романа. Стихийный философ, почти бомж, он, несмотря ни на что, живет легко. Он свободен от пут сердечных привязанностей и ответственности, ни о ком не заботясь, плывет по течению жизни, веря в удачу. Но, избегая печалей, невольно лишает себя радостей. Многие изменилось с тех пор, как роман впервые увидел свет в конце 1990-х, – дух перемен, еще раньше воспетый Цоем, продул страну насквозь. Но «Андеграунд» вне времени и обстоятельств пленяет мерцанием смыслов, неоднозначностью характеров и красотой писательского слога.

ISBN 978-5-699-44378-9

© Маканин В. С., 1998

© Эксмо, 1998

Содержание

Часть I	5
КОРИДОРЫ	5
НОВЬ. ПЕРВЫЙ ПРИЗЫВ	20
КВАДРАТ МАЛЕВИЧА	39
Часть II	46
СЛУЧАЙ НА ВТОРОМ КУРСЕ	46
БРАТЬЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ	53
ИДУ, РУКИ В КАРМАНЫ...	64
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК ТЕТЕЛИН	66
КАВКАЗСКИЙ СЛЕД	76
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Владимир Маканин

Андеграунд, или Герой нашего времени

Герой... портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии.
М. Лермонтов

Часть I

КОРИДОРЫ

Сбросил обувь, босой по коврам. Кресло ждет; кто бы из русских читал Хайдеггера, если бы не перевод Бибикина! Но только-только замер, можно сказать, притих душой на очередном здесь и сейчас, как кто-то уже перетапывается у двери. Звонок. Впускаю – и даже в глазок не глянул: ясно, что кто-то теплый пришел из завершающегося, но еще шумного свадебного застолья на нашем этаже. И точно: Курнеев. Муж Веры. Везет мне.

– Петрович. Это я, – и смотрит вежливо, увлажненными глазами. Пьяненький.

Вошел. Огляделся.

– Сторожишь? – спрашивает.

– А как же.

– Хорошая квартира, – говорит он. – Стильная.

Показываю рукой направление (показываю ему довольно строго) – мол, на кухню. Идем на кухню, если хочешь посидеть, поболтать о чем-то. (Уже знаю, о чем. О его жене. Бедный.)

Пьяненький, он все-таки ломит напрямую: в комнаты. Одергиваю:

– Не ходи. Не ходи туда. Зачем хозяевам лишние следы?! (Зачем мне их прибирать? Я на это ленивый.)

– Ну ясно. Ковры... – Он на кухне. Ставлю чай. Как все пьяненькие, Курнеев начинает издалека. Вам, одиноким, – одна жизнь. Нам, женатым, – другая. Жена – это жена. Жена – это боль и это великая радость! Пары, известно, подбираются на небесах. А вот как они подбираются и как притираются, и как постепенно, кирпичик к кирпичику, подгоняется судьба к судьбе – знают не все. А писателю может стать интересно и пойти в строку. Да, говорю, как раз мне и пойдет в строку. Рассказать? Рассказывай. (Когда я им нужен, чтобы выболтаться, я писатель. Я уже привык. Когда не нужен – я шиз, сторож, неудачник, тунеядец, кто угодно, старый графоман.)

С удовольствием бы его выпроводил. Но... нельзя. Я у них не раз вкусно ел. К тому же Курнеев поет (а я понимаю в пьяноватом хоровом пении). И потом как-никак мужик выдал дочку. Уже поздний час, отгуляли, гости – марш по домам. Уходят последние, но жена все еще дирижирует застольем, крутится, наливает, роняет бутылки, громоздит последнюю гору еды... а мужик? А мужик, как следует поддав, ушел. Он ведь сам по себе. (Слонялся коридором туда-сюда. Курил.) А теперь увязался поболтать, пока весь не выговорится, – нормально!

– ...Вера в молодости была хороша собой, – уже рассказывает мне он (муж о жене).

– И сейчас хороша.

– Ах, как она была хороша...

Что-то меня настораживает. Ага! Я вспомнил, что Вера Курнеева крутит с Ханюковым, с техником по ремонту, с умельцем на все руки. Слегка сумасшедший – на общий взгляд. Но красив. (С норовом. Чуть что, скрипит зубами.)

Я сколько-то знал про их любовь: я сторож, я многое на этажах вижу. Вот почему Курнеев ко мне вяжется в последнее время. В коридоре остановит. Угостит хорошей сигаретой.

Но в общаге не следует проговариваться.

– ...Я, Петрович, много с моей Верой перетерпел. Поженились, и началось. Сынишка родился. Однако же и сынишка нам не помог.

Петр Алексеевич Курнеев худощав – с длинной голодной шеей российского инженера-конструктора. И с характерными инженерскими залысинами, на его лбу столь мощными, что похожи на белые клещи, вцепившиеся ему в самое темя.

Рассказывает:

– Витей называли... А ей нравились мужики с причудами, что за вкус! Сначала Бубнов, всем известный на заводе задира. Потом киномеханик кудрявый. А потом вдруг летчик некий. Говорит ей, а что, Верка. Махнем на точку! Бери Витеньку. И ведь махнули. Сказано – сделано. А там своя жена. А там свой Витенька. Трудно сказать, о чем этот летчик думал... Ведь дурак. Ведь какой же дурак! На космонавта тренировался. Я, Петрович, только спустя годы стал понимать, что страсть к похвальбе, страстишка, жажда красиво сболтнуть – совершенно лишает людей разума!

Курнеев уже оседлал интонацию. Старается. Его откровения приоткроют мое сердце. Так он думает.

– ...Ну зачем он повез ее? Не в город же повез – на глухой полустанок. Но ему было важно сказать – едем! махнем!.. Взрослый человек. А ума – шиш. Моя Вера там заболела с горя. Жар. И рвало ее. И надо возвращаться. И еще меняли поезд на каком-то вокзале. А при пересадке, среди шума, среди толп целинников, они тогда валом валили в степную сторону, Вера потеряла сознание. Может быть, не на вокзале, а в поезде. Она не помнит. Очнулась в тихом железнодорожном медпункте. Одна. Витеньки нет...

Я киваю. Я уже как-то слышал (но без подробностей) эту давнюю жутковатую и вполне бытовую историю о том, как Вера Курнеева потеряла ребенка. Как она металась туда-сюда, бегала, плакала, слала телеграммы начальникам станций, пока не кончились деньги. Нет. Нигде нет. Кто-то забрал Витеньку, ее маленького Витеньку – и хорошо, если хорошие люди. (Курнеев глянул: как я? внимателен ли?) Вернулась в Москву без сына. Он, Курнеев, тотчас тоже поехал, тоже там пропадал, высматривал, слал телеграммы, ездил, спал на деревянных скамьях десятка маленьких станций и полустанков во всей округе. Искал и спрашивал – нет и нет.

– ...Как он мог найтись? Никаких примет. Годовалый мальчик. Это в старину всякие там медальоны, родинки, записки. А еще мне сказали, что таких малых плачущих детишек берут, чтобы ходить с ними по вагонам и милостыню просить. Нищие крали детей. Обычно у спящей матери. С дитем на руках нищенка может и песни в вагонах не петь. И заработок. И проезд льготный. Дети в новых руках быстро гибнут. А им что – зароят его недели через три-четыре, вот и пожил.

Он уронил пьяную слезинку. Мелкая, бледная, он ее просто стряхнул.

Я поддакнул – мол, слышал. Слышал, что был у вас сын, был мальчик до Наташи. Той, что выдали замуж. (Той, чью свадьбу гуляют сегодня.)

Курнеев развел руками, вздохнул, да, такая история, такая жалость.

– Был.

Отставил чашку с чаем в сторону он очень аккуратно. Я отметил – по рукам, по его пальцам, – не такой уж Курнеев пьяненький. Он и с рассказом теперь не спешил. (Уже подловил меня на жалости.)

– ...А я ездил тогда на Волгу, строил там целых два месяца. Вернулся сюда – в комнате никого. Ни Веры, ни Вити. Я искал, по общаге бегал. Здесь, в общаге, жили тогда тысячи. Квартир не было. В каждой комнате человек, а то и двое-трое. Бегаю и кричу: «Вера-а! Вера-а!» – вроде как зову, мол, засиделась моя молодая жена где-то. Пока все прилично. Мало ли почему

муж зовет. Но за окнами темнело, а в коридорах лампы вспыхнули. Уже громко не покричишь. Люди после работы, вечер! Вот и начались мучительные минуты: хожу под дверьми и прислушиваюсь.

Рассказывает:

– ...Мне, глупому, все думалось, что она с кем-то. Витю, мол, подсунула молодухе-подруге, а сама у кого-то. У очередного сумасшедшего... Хожу по этажам, по коридорам, и ухо вперед: прислушиваюсь. Заглядывал уже во все комнаты подряд. Извинялся. Грубил. Комната за комнатой. Да, да, искал собственную жену. Тоже был молодой дурила!.. Тебе, я думаю, интересно о нравах общаги тех лет. Правило было – если накрыл жену с кем-то, она сразу вам обоим бутылку на стол. Чтоб разговаривали и разбирались за водкой. Чтоб не сразу до крови.

Вздыхнул:

– Когда женщине нет двадцати, ей не следует иметь ребенка, если рядом нет старших. Она сама ребенок. Ей играть хочется. Ее можно обмануть пряником, конфеткой... Только потеряв Витю, только когда родилась Наташка, только тут моя Вера кое-что в жизни поняла.

– Как дочкина свадьба – отгуляли?

– Почти.

Мы помолчали. Погибший Витенька был еще с нами. (Но недолго, как и жил. Пауза дала пролететь маленькому ангелу.)

– Н-да, – сказал я.

– Вера стала иной. Она поняла. А я простил. Жили хорошо. Жили счастливо! Очень счастливо! Она стала иной, – произносит Курнеев с нажимом. – Но вот сейчас ей сорок пять. Сорок шесть скоро. Писатель должен бы знать, какой это сложный возраст...

Он смотрит мне в глаза, словно уже спрашивает. И (вздых) раздумчиво произносит:

– Ты, может, и знаешь толк в женщинах. Но знаешь ли ты толк в женах?..

Я пожимаю плечами.

– Постарайся понять, – продолжает Курнеев вкрадчиво влезать мне в душу. – Сорок пять – это особый возраст. Женщина заново тяготеет к нежности. Как девушка. Как ребенок. И мы, мужчины, в ответе.

Я видел, что Курнеев пьян и искренен. Но я не сразу увидел и понял, что он хороший (о себе) рассказчик: его внешняя жалкость имела жало.

В особенности он очень искусно возвращался к тем давним (и таким болезненным) своим минутам, когда искал Веру в коридорах, в комнатах общаги. Он вроде бы путал последовательность, но он ничуть не спутался. Рассказывал о жизни с женой (о наладившейся жизни), а картинка для прямой интервенции в душу слушателя была та же: как он, Курнеев, в муках стоял снаружи возле запertых дверей и гадал – здесь она? здесь ли?.. Тайна из его личной и комнатной становилась чуть ли не вечной и общей всекоридорной тайной. Запертая дверь хранит свой секрет. Курнеев прошел мимо двери, но вот он споткнулся, сменил шаг на быстром ходу – не знак ли? Теперь в коридоре возле каждой запertой двери Курнеев (и я вместе с ним) думал – здесь ли екнуло? Здесь ли ему стукнуло сердце?

– ...Я стал у двери. Я приник к дверной щели. Звать я не смел и тихо, на выдохе окликал, еле шевеля губами: Вера-аа...

Голос его вновь попал; и вновь я, слушатель, был (оказался) на крючке сопереживания. С запозданием в четверть века я тоже искал жену Веру и потерянного годовалого мальчика (услышать за дверьми его голодный заждавшийся плач). Перед глазами плыл – тянулся – знакомый мне коридор общаги с зажженными лампами, нескончаемый (навязанный рассказом) ночной лабиринт квартир и комнат с запertыми дверьми. Весь внимание, я слушаю, а Петр Алексеевич Курнеев (сопереживание мне подаривший как бы просто так, нечаянно) трет пальцами высокие залысины. Давит вздох. И повторяет, что можно было с ума сойти, вот так смот-

реть на латунные цифры (номер затаившейся квартиры), трогать рукой, ладонью дерево двери и... не постучать, не войти.

В момент, когда образ коридора мало-помалу во мне (в нас обоих) иссякает, Курнеев лезет в карман. Четвертинка. Выпьем?.. Нет, говорю, не сегодня: печень болит. «Сколько ж тебе лет? Полета?» – «Полета четыре». – «Да мы ж ровесники! за это бы и выпить! Ничего-ничего! В пятьдесят четыре она может и поболеть – это уже не твои, это ее (печени) проблемы!»

– Ладно, – говорю.

Но сам пить не будет, не хочет, уже, мол, хорош! Курнеев оставляет ее мне на столе, теплую, час в брюках держал, в кармане.

– Чай? – заново предлагаю я.

– А кофе у них нет?

– Наверно, есть. Но надо искать. Мне про кофе не сказали.

Он охотно откликается:

– Поищем!

Либо Курнеев считает меня дураком (мало чего в общажных правилах знаю), либо же (скорее всего) думает, что я посочувствую и про Веру и Ханюкова ему сболтну. Бывает, у человека язык чешется. Или просто утечка информации. Как-никак кручусь на этажах, когда все они на работе. Нет-нет и замечаю. Вижу.

Но в том-то и дело (в том-то и печаль), что я вижу. Не стала Вера другой. И он не стал. Может, тут-то и взаимность. (Тут много чего.) Она убегает – он ищет. С годами она эволюционировала в более скрытную, в приемлемую форму. (И он.) Она стала все свое делать тише и аккуратнее. (И он.) Она исчезает в день и в час, когда он на работе. А он, ища, не стучит в двери. Он приходит вечером и предлагает не только выпивку, но и вкрадчивый разговор, чтобы я (или кто другой) проговорился, в какой квартире ее искать...

Год за годом он ходит, настороженный, мимо чужих квартир; и не уйти, не выйти ему из этого коридора. Здоровается со встречаемыми. Покуривает у торцового окна. Вдруг чайник несет на общую кухню. (Хотя в каждой квартире своя кухня. Но временно вроде как у него, у Курнеева, в ремонте газовая плита.) Он идет с чайником туда, потом сюда. И все мимо тех и других дверей. Но только не кричит он, постаревший, не зовет: «Вера! Вера!..» – и не сует голову в каждый дверной проем, а размышляет. Гадает. Пытается угадать. Он долго числился инженером из самых сереньких. Потом был взлет в известном КБ. Заведовал отделом. Ездил много раз за границу, спец по демонтажу. Потом, как водится, рассекретили, и инженер оказался на нулях, по сути обворованный, – у него еще достало храбрости протестовать, ходить через площадь с плакатиком, крича, что за его патенты ему не дали ни славы, ни денег. На короткое время фото появилось в газетах. Курнеев из 534-й – Петр Алексеевич. Но с той поры он уже не оглядывался. Работал где придется; лишь бы зарплата. Тщеславие уснуло. Теперь он старел. Многое менялось за десятилетия в его жизни – не менялось, кажется, одно: он все так же искал свою Веру в коридорах. Вечный поиск. Извиняясь, заглядывал в чужие двери – спрашивал.

Он сам предложил этот образ: пустынного коридора и поиска в нем женщины. Сам попал в образ, сам в нем жил. Я тут ни при чем. Хотя и я мог бы штришок добавить.

Лет пять назад Вера случаем забежала ко мне (я приглядывал за квартирой Разумовских). У кого и где она была столь поздним вечером, не знаю. Торопилась мимо по коридору, я слышал каблучки, но вдруг пристукивающая поступь стала иной, мягкой (я чуть позже понял, она сняла туфли) – Вера уходила, Курнеев искал и теперь, видно, шел по ее следу. Возможно, уже настигал. Впереди был этажный поворот и тупик с рискованным (иногда перекрыт) подъемом на другие этажи. Вера могла думать, что ей уже не спрятаться. Но, скорее всего, нет. Просто заметала свой след. Вот почему и выбрала угловую квартиру, не постучав, не позвонив, а только поскребя в ее шероховатую дверь. Я там сторожил, у Разумовских. Я все понял

– и она поняла. Войдя, как бы вбежав, она приложила палец к губам. Стояла у самых дверей, я там же. Лицом к лицу. Курнеев проходил мимо нас по коридору. Тогда, то есть пять лет назад, Курнеев ходил куда более нервно. Я смолчал (она мне давно нравилась, я ей нет – интеллигентный, а все же бомж). Опять приложила палец к губам: тс-с. Волна запретной игры возле дверей обернулась возбуждением – волной же меня толкнуло к Вере. Она улыбнулась. И вдруг подставила свою грудь. На. Я обнял, я мямлю груди; не просто привлекло, меня ошарашило. Потому что тишина. Ни звука. (Оба молчали.) Через минуту, что ли, я захотел большего, но она твердо выказала – нет. Не дала себя подхватить, поднять, вцепилась в ручку двери. Мне остались только груди, она даже помогла. Что-то под моими пальцами хрустнуло, и Вера, возможно, не желая попортить изысканный предмет туалета, спасая вещь, вдруг рывком сняла лифчик и спрятала в сумочку. Мол, груди – твои. Но ни граммом больше. Курнеев прошагал коридором трижды (не меньше) туда и обратно. Разумовские уехали чуть не на полгода, он это знал. Он постичь не мог, куда Вера ушла, – он шел за звуком ее каблучков, неужели она так сразу поднялась на другой этаж? но каким образом?.. Не услышал, как она, босая, шла до моего угла. На миг возле двери Разумовских он все же приостановился (это точно, я помню сбой в его нервном шаге – сбой был! знак!). Но прошагал дальше. Вяло длящийся миг остановки – мы, двое (секунда), стояли с этой стороны дверей – Курнеев с той. Три человека в шаге друг от друга. Тишина. Но вот инженер Курнеев шагнул, выдав свое присутствие. Как только звуки его шагов окончательно стихли, Вера оттолкнула мои руки: «Ну, все. Все. Хватит!» – и решительно шагнула к дверям. Ушла.

* * *

Я иду поискать кофе в серванте (на кухне кофе нет), а Курнеев проходит за мной, осторожно шагая по коврам. Может, он и сейчас беспокоен за жену: хочет знать впрямь, как устроена пустующая от хозяев квартира (и где здесь при случае прячутся?..). И ведь точно – кофе есть, полная банка! Меня это не удивляет. Кофе сытный, вкусный напиток. Хозяева часто прячут. Я часто нахожу. Не знаю, зачем они прячут. Соболевы совсем не бедные люди – всегда и во все времена были выездные, с достатком и в общем щедрые. Уезжают – зовут меня. (Сторож неофициальный, по договоренности и за малые деньги. Я никто. Но им спокойней.)

Мы опять на кухне, кофе; и Курнеев заводит старую песню:

– Мы, Петрович, мужчины – мы за женщину в ответе...

Я молчу.

– Если мужчина вдруг заметил грешок за чьей-то женой, не надо, чтоб знали все, ты согласен? Не надо лишней болтовни. Не надо скандала. Спокойно предупредить мужа – это и значит помочь семье пережить трудный час...

Он ждет. Я молчу.

Маленькими глотками пьем замечательно вкусный кофе.

– Семью люди обязаны беречь. Просто и честно. Обязаны...

Да, да, обязаны, – киваю. Вера – женщина горделивая, красивая, с манерами. Я (мысленно) зову ее мадам.

Но неужели он думает, что я что-то о ней скажу? Или шепну. Неужели я похож на человека, который бережет семьи? Обидно. Еще и стукаческим способом... Или в его инженерской голове нашептывание о женах как-то увязано с тем, что я сочиняю (вернее, сочинял) повести, чего ты, мил друг, ко мне липнешь? – хочется мне вспылить. Да я сам наставил бы тебе пару ветвистых на лбу, если бы не определил этот скот Ханюков. Техник, мать его. По ремонту!

Конечно, молчу. (Ни в коем случае!) Да и кофе допили. Курнеев держит чашку на весу, держит, наклонив, и тяжелые последние капли кофе падают на блюдце. Черные на белом. Мол, вот бы какими слезами людям плакать.

– Таких слез нет, не бывает. А жаль, – говорит он. Молчу.

– ...Ты, конечно, помнишь – ты же у нас человек образованный, – что троянская бойня началась с убежавшей от мужа Елены. (Вероятно, в ответ надо будет выдать ему что-то из Хайдеггера.) Елена как Елена. Вот так-то, Петрович... Семья рушится со времен Гомера. Однако... однако все еще цела. Что-то держит семью!

Я тупо смотрю на кофейную гущу. Его жена изменяет ему с Ханюковым, с техником, с большим умельцем, притом изменяет тихо, элегантно, без шума и скандала, чего ему еще надо?

– Вся жизнь, Петрович, держится на семье. Весь мир – на семье. Нация – на семье. И даже жизнь холостяков, неугомонных бабников и донжуанов – тоже держится на этой самой семье...

Чувствую, как натягиваются нервы. Он провокационно исповедуется, возможно, лукавит, а из меня выпирает подлинное сочувствие – стоп, стоп, слушать слушай, но только и всего.

Сторож отвечает за квартиры. А не за жен в возрасте сорока пяти лет.

* * *

Они проговаривали сотни историй: то вдруг с истовой, а то и с осторожной правдивостью вываливали здесь, у меня, свой скопившийся слоеный житейский хлам. «Заглянуть к Петровичу» – вот как у них называлось (с насмешкой, конечно; в шутку). «Пришел исповедоваться?» – ворчливо спрашивал я (тоже шутя). Пробуя на мне, они, я думаю, избавлялись от притаенных комплексов, от предчувствий, да и просто от мелочного душевного перегруза. На Западе, как сказал Михаил, психиатры драли бы с них огромные суммы. А я нет. А я поил их чаем. Иногда водкой. (Но, конечно, чаще являлись с водкой они, с бутылкой.) Так что я был нужен. Нужен как раз и именно в качестве неудачника, в качестве вроде бы писателя, потому что престиж писателя в первые постсоветские времена был все еще высок – так раздут и высок, что, будь я настоящим, с книгами, с фотографиями в одной-двух газетенках, они бы побоялись прийти, позвонить в мою дверь даже и спяну. (А если бы, отважась, пришли, говорили бы газетными отрывками.)

Часто о политике (особенно в зачин): «Ну что там?» – спрашивает – и кивок головой наверх; игривый кивок, пока, мол, он три дня пьянствовал, я ведь мог успеть смотаться в Кремль и поболтать там со скучающим Горби. О ценах, конечно. Я нехотя отвечал. Потом о жене. О детях. О суке начальнике. О плохо стоящем члене (на свою жену – слушай, это волнами или уже навсегда?). О соседях. О Солженицыне. О магазинах на Западе и у нас. О Крыме – опять выворот в политику, – побежали по кругу. Но, поскольку ко мне пришли и как-никак вечер, гость с исповедью, я всегда их терпел и выслушивал. (Не испытывая от их пьяненького доверия ни даже малой гордости.) Знал, конечно, что за глаза по некоему высшему своему счету они меня презирают. Они трудятся, а я нет. Они живут в квартирах, а я в коридорах. Они если не лучше, то, во всяком случае, куда надежнее встроены и вписаны в окружающий, как они выражаются, мир. Да и сам мир для них прост. Он именно их и окружает. Как таз. (С крепкими краями по бокам.) Подчас разговор – вялая вата, туфта, мой собеседник бывает что и глуп, косноязычен, но даже в этом (напряженном для меня) случае на душе у него в итоге заметно теплеет. Чем я его так пригрел, для меня загадка. Разве что по времени он выговорился, а по ощущению – освободился. Улыбается. Готов уйти. Он свое получил и сейчас унесет с собой. Что именно? – он тоже не знает, но как-никак полученное тепло при нем. Теперь я не нужен. Мой гость встает уйти и – у самых дверей – вдруг радостно вспоминает, что в общем я говно, неработающий, нечто социально жалкое, сторож.

– Так и живешь в чужих стенах? – говорит он, качая головой и уходя. Этот запоздалый плевок (самоутверждения) – его неловкая плата за мою готовность выслушать его же накопившиеся житейские глупости.

Иногда, если у него беда, я из чувства человечности провожаю его. Из чувства человечности он тоже никак не может от меня отлипнуть. Как родные. Мы бредем по этажу коридора, по ступенькам поднимаемся на другой, также притихший и безлюдный этаж – уже ночь. Я провожаю его до квартиры, до пахнущих женой и детьми кв. метров. До самых дверей, тут он вспоминает, что надо покурить. Мы стоим у дверей и курим.

– Иди, иди. Тебе ж завтра работать, – говорю я.

Он кивает:

– Да, тебе-то хорошо (то есть неработающему). Такие, как ты, хорошо устраиваются, – говорит он, еще разок в меня походя плюнув. И, пожелав спокойной ночи отмашкой руки, скрывается в темном проеме двери.

Я топаю по коридору назад. К себе. Прихожу, убираю со стола, перебиваю его и свою чашки. И машинально напеваю песню, которую когда-то вогнала мне в душу покойная мать.

Но ведь он прав. Моему «я» хорошо. И пора лечь в постель, спать.

* * *

Но меня толкнуло походить туда-сюда ночным коридором. Полумрак, тихо. Лампы редки. В огромном доме и за много лет я знал разных женщин, но время шло, год был уже закрыт годом, а лицо – лицом; веер лет и лиц, который уже трудно раскрыть. А потому здесь и сейчас я мог в столь позднее время рассчитывать разве что на Татьяну Савельевну, фельдшерица, седьмой этаж. Она, правда, тоже не вполне свободна. Но в поздний ночной час (психология), если посещение женщины требует осторожности и сколько-то риска – это в плюс, это как охотничий гон и, как известно, лишь прибавляет мужчине возбуждения в его ночных поисках. Вот и седьмой. И памятный на этаже обшарпанный поворот. Для начала (прислушался) проходим мимо. Тихо. Но тишина может значить *и да и нет*. (У Татьяны Савельевны сожитель, даже, кажется, муж; шофер.) Я иду коридором за угол и выглядываю из окна с восточной стороны – там внизу, на улице, за крылом «К» (и чуть левее гастронома) расстелился квадрат заасфальтированной площадки, где пристраиваются на ночь машины. Там обычно и его грузовик. Вглядываюсь: грузовика нет. Но его можно приткнуть и за углом.

В пятьдесят с лишним лет на ночь глядя следует читать. Книжку, журнал и чтоб в домашнем тепле (в теплом кресле). Перед сном почитать, что может быть прекраснее. Разве Хайдеггер не лучше, чем вот так шастать. Но иду. Постепенно кураж нарастает, *он и она!* В кармане та самая четвертинка; печень не болит. Как молодой. Пустые коридоры приветствуют меня. Это я. Торжество минуты обдает столь сильным чувственным ветром, что вот-вот сорвет с неба все мои звездочки.

В конце коридора чья-то тень. Но пугливее меня, он первый уходит в сторону. Ладно. (Где-то прошипела дверь лифта. Кто-то вернулся домой.) Вот и северная сторона.

Кураж при мне, но он мало-помалу тает, и мое «я» (самолет, теряющий в воздухе горячее) требует, чтобы я действовал уже напрямую. Иду к ее дверям. Фельдшерица Татьяна Савельевна должна же понять. Рука разбивает тишину: стучу решительнее и громче. Теперь фельдшерица не может меня не услышать. «Кто там?.. Мы спи-иим!» – Ее сонный голос, а еще больше усталая интонация и приглушенное, постельное «мы» все объясняют.

Ага: слышу звук медленно открываемой двери. Фельдшерица сонна, в халатике, стоит в дверях в полутьме. «Дома он...» – сообщает шепотом Татьяна Савельевна. Она едва разлепляет сонные губы. (Старается сделать примиренческую улыбку.) Глаза вовсе не разлепляет.

– Понял, – говорю. Слышу смиряющееся с неохотой сердце.

Молчим. Татьяна Савельевна вяло переступила с ноги на ногу, и с этим движением квартирный дух бросает мне напоследок запах прикрытого наспех халатом ее тела.

Неожиданно из глубины коридора, шагах в тридцати, прозвучал отдаленный чей-то крик. Или стон? Конечно, когда ночь и возбужден, возможно преувеличение, и почему-то всегда услышится либо боль, либо вскрик страсти. (Подумалось вскользь: именно этого крика столько лет ждал бегающий по этажам Курнеев.)

Мы переглянулись, фельдшерица спросила:

– Что это там?

Я пожал плечами – не знаю.

Еще постояли. Тишина.

– Дома он, – повторила фельдшерица, имея в виду шофера.

Я махнул ей рукой. Ясно.

Она уже прикрывала дверь. А я уже шел мимо дверей дальше, коридор продолжается, что ж огорчаться!.. Сам коридорный образ, нечаянно возникший сегодня, разрастался теперь до правила, чуть ли не до всеобщего земного распорядка. Все, мол, мужчины мира, и я не исключение, словно бы потерялись в этих коридорах, забегались, заплутали, не в силах найти женщину раз и навсегда. Коридоры обступают, коридоры там и тут.

Что бы там мужчина ни говорил, он живет случайным опытом, подsunутым ему еще в юности. Мужчина, увы, не приобретает. Мужчина донашивает образ. В игре своя двойственность и своя коридорная похожесть – все двери похожи извне. И все ему не так, бедному. Жены, как водится, тускнеют, бытовеют и разочаровывают. Любовницы лгут. Старухи напоминают костлявую. Детей на проверку тоже нет, дети гибнут, теряясь на вокзалах и попадая в руки вагонных попрошаек или же попросту взрослея, чужая и отторгаясь – они в пестрой массе, в массовке, – а мужчина сам по себе и тем сильнее сам понимает, что он-то никак не меняется в продолжающемся волчьем поиске. Чижик-пыжик. Мужчина, что делать, идет и идет по ночному коридору, посматривая на номера квартир, на цифры с тусклым латунным блеском – на обманчивую запертость дверей. На что еще, спрашивается, мы годны, если нет войн? Мужчина редко бывает доволен. Двери как двери, а он нервничает – он ярится. Он весь как бельмо слепого, налитое злобой и решимостью прозреть. Он никак не хочет поверить, что, если постучит, нажмет звонок, толкнется плечом или даже сгоряча ударит в дверь ногой, в ответ ему раздастся: «Мы спи-иим!» Он не смеет, не хочет принять как факт, что мир упрощен и что другой двери для него нет – ее просто не существует. Ее нет среди всех этих дверных проемов, и нет ее номера среди тускло-латунных цифр.

Правду сказать, и коридор долог, есть еще дальние во времени повороты, и пятьдесят, и шестьдесят лет – еще не сто.

– Н-ны. Ой-ооой! – В коридорной глубине вновь прошел эхом безыскусный страстный стон, из тех, какие доводится слышать лишь в самые юные годы.

Притом что уже знал, угадал... старики Сычевы... увы... всего лишь!

Я наконец засмеялся, сбавив шаг. Постучал – и толкнул дверь. Было известно, что старики Сычевы вечно воют меж собой, ворчат, вопят, а дверь, как правило, не запирают, ожидая чьей-либо подмоги. В нос ударил вонюченький уют квартиры, пахучие изжитые кв. метры. Плюс свежий запах лекарств. Оба страдали сильнейшим радикулитом. Бывали такие боли, что и не встать. Запоминались им эти ночи вдвоем!

Спаренность стариков вдруг объяснила мне оттенок страсти, вкравшийся в мою слуховую ошибку: болели двое – он и она.

– ...Хоть кто-то человек! Хоть кто-то, мать вашу! Хоть один шел мимо! – ворчал, чуть ли не рычал старик Сычев. – Когда не надо, они топают как стадо. Бегут, понимаешь! А тут ни души...

– Грелку? – спросил я.

– Да, да, и поскорей, поскорей, Петрович! – старик закричал.

Старуха Сычиха лишь чуть постанывала. Скромней его, терпеливей.

– Скорей же! – ныл старик.

Я прошел на их кухню. Грелки были на виду – его и ее. Старухе и грелка досталась выношенная, потертая, небось течет, надо завернуть в полотенце. (Поискал глазами полотенце на стене.) Сыч всю жизнь на автозаводском конвейере, ему семьдесят, согбенный, у него руки – и стало быть (я думал), грелку ему под шею, меж лопатками. А старуха, конечно, с поясницей. Потому и стеснительная, что грелку под зад чужая рука подсунет. Под копчик.

– Что долго возишься?! – ворчал Сыч, уже сильно прибавив в столах.

– Воду грею.

– Ведро, что ли, поставил на огонь?

– Ведро не ведро, а на двоих поставил.

– Да ей не обязательно. Она придушивается. Не хочет за мной ходить!

Старуха заплакала:

– И не совестно, а?.. стыдоба. Ой, стыдоба, Петрович.

На столе тарелки, объедки, хлеб, – старуха, видно, из последних сил покормила ужином и свалилась. Сыч, поев, тоже слег и начал стонать. Его сваливало разом. Но хотя бы кто-то из них искал лекарство? (Перебиваемый медикаментами, в моих ноздрях все еще плыл пряный запах сонной и томной фельдшерицы.)

Когда я спросил, не вызвать ли «Скорую», старики оба завопили – нет-нет, одного увезут, а второй? а квартира?.. Нет, нет, Петрович. Они хотят болеть вместе и помереть вместе. Вместе – и точка. Семья, распадающаяся со времен Гомера.

Я уже пожалел, что вошел к ним. Встал бы Сыч сам! Недолюбливал я Сычевых, особенно его. Но было как-то неловко, поддавшись на невнятный эротический зов, не откликнуться на внятный человеческий. И ведь как молодо стонали. Как чувственно. Подманивали болью, поддельваясь под страсть.

– Скоро, что ль?.. Петрович?!

– Заткнись.

Старик Сычев, делать не фига, собирал глиняные игрушки – они и стояли, как бы по делу собравшись, на стареньком комод. Как на взгорье, рядком, – бабы с расставленными руками, медведи с расставленными лапами. Аляповатые. Схожие. Издали один к одному. Конвейер и здесь не отпускал душу старика: хотелось однообразия. Старый монстр, казалось, и жену бранил за то, что ее чувство жизни не состояло в чувстве ровно отстукивающего времени.

Ее вина перед ним была велика: она женщина, и она постарела. Не из глины, и потому он мог ворчать, попрекать, чуть ли не из дому гнать, так сильно и по всем статьям она проиграла ему в затяжной, в вечной войне с мужчиной. Зато у нее оставалось последнее преимущество: она женщина, и она проживет на два десятка лет дольше. Он все время ей об этом напоминал. Она тотчас краснела, смущалась. (Она своего будущего долголетия стыдилась.) Он шлялся по рынкам, собирал игрушки, а то и попивал пиво, сидя за домино во дворе, и до самого момента его возвращения домой она не отходила от плиты, от стряпни. Сычев возвращался и все сжирал, грубые, большие куски, огромная тарелка – ел без разбору.

Когда я пристраивал ему грелку меж костлявых лопаток, Сыч покрикивал и на меня – еще, еще подпихни малость!.. Кряхтел. Старушка Сычиха (сейчас подойду к ней) в ожидании вся извелась, стоны стали тонкие, как у мышки. Мучил стыд, мучил возраст. И было еще смущение: как это она ляжет на проливающуюся грелку.

– Обернул ли в полотенце, Петрович?

– Обернул.

Едва я направился к дверям, он и она начали перекрикиваться – должен ли я гасить свет? или оставить?!

– Да погаси, Петрович. Спать надо... (Старуха с трудом засыпала при свете.)

– Не смей, – злился старик. – Может, еще какая надобность будет.

- Пришел же Петрович.
- Дура! Он потому и пришел, что свет был... Как бы в темноте он нас разглядел, а?
- Поспать же надо.
- Закрой глаза – да спи.
- Погаси, Петрович. Богом молю...
- Не смей! – завопил старик.

* * *

Мой нынешний дар в том, чтобы слышать, как через двери пахнут (сочатся) теплые, духовитые квадратные метры жилья и как слабо, увы, припахивает на них недолговечная, лет на семьдесят, человеческая субстанция. Квартиры и повороты то за угол, то в тупик превращают эту пахучую коридорно-квартирную реальность в сон, в кино, в цепкую иллюзию, в шахматный-клеточный мир – в любопытную и нестрашную гиперреальность. Как оказалось, больше человеку и не нужно: мне хватило. Вполне хватило этого мира коридоров, не нужны красоты Италии или Забайкальской Сибири, рослые домики города Нью-Йорка или что там еще. Мне и Москва-то не нужна. (Хотя я ценю ее полуночное пустующее метро. И ее Веронику. Уменьшечка. Любила меня.)

Когда-то коридоры и их латунно занумерованные квартиры, и особенно их тихие двери, казались мне чреватые притаившимися женщинами. Полные женщины или худенькие. Красивые или не очень. Всюду они. За каждой тихой дверью. В коридор они вдруг выбежали, нет, они выпрыгивали: они являлись или же вдруг прятались. Их можно было внезапно увидеть, встретить. (Или же их надо было искать.) Затаившиеся в коридорной полутьме и, разумеется, ждущие любви женщины – мир тем самым был избыточно полон. Коридоры и женщины. Мужчины при них тоже мелькали, но были лишь фоном, бытовым сопровождением и подчас необходимой квартирной деталью, вроде стола, холодильника или сверкающей (иногда ржавенькой) ванны. Участвовали, и не больше.

Однако возраст и стаж сторожения (да и оценочность, душок времени) постепенно привели в коридорах и во мне к удивительной подмене. Подмена не окончательна, но она происходит: женщин мало-помалу, но все определеннее вытесняют в моем воображении их жилые квартиры. Понять мое, твое или его присутствие через жилье, а не через женщину – вот где теперь ток (течение) бытия.

Женщина словно бы пустила корни в свои собственные квадратные метры. Я их вижу. Я их (кв. метры) чувствую через стены и через двери: слышу их запахи. Вбираю и узнаю. Жилые пахучие метры, они и составляют теперь многоликое лицо мира.

Я сообразил, соотнес и подыскал сходное себе оправдание-объяснение: в конце концов, как сторож я вложил в эти метры заботу, личную жизнь. Я называю их просто – каве метры. Каждый день я движусь по коридорам, отчасти уже задействованный той посильной метафизикой, какую я им навязал. (Коридоры за образ не отвечают и сами по себе не виноваты. Обычные проходы по этажам.)

Полтора-два месяца буду жить у Соболевых, замечательная квартира в четыре комнаты, с большой ванной и с гигантским телевизором (я, правда, не люблю ни ТВ, ни полудрему в теплой воде). С телефоном. С книгами. Денег за пригляд платят крохи, но хорошей квартире я рад. Я ведь живу. Но, конечно, придерживаю и свое запасное место в пристройке дома – в крыле «К», где сменяют друг друга командировочные. Место плохонькое, однако всегдашнее: якорь в тине. Там у меня просто койка. К койке я креплю металлической цепкой, довольно крепкой, мою пишущую машинку. (Продев цепочку под каретку, чтобы не сперли.) Я не пишу. Я бросил. Но машинка, старая подружка (она еще югославка), придает мне некий статус. На деле и статуса

не придает, ничего, ноль, просто память. Так у отловленного бомжа вдруг бывает в кармане зажеванный и засаленный, просроченный, давненько без фотографии, а все же паспорт.

Рублевы, Конобеевы, пьяницы Шутовы (вот ведь фамилии!), но зато теперь приглядываю и у богатых, у Соболевых – я, стало быть, сочетаю. Соболевы – это уже мой шаг в гору, капитал. Интеллектом и деньгами припахивают их крепкие, их пушистые кв. метры. И каким доверием!

– Петрович, – и укоризна в голосе Соболевых, этакая добрая, теплая их укоризна. – Петрович, ну пожалуйста! Ты же интеллигентный человек. Ты хоть не общайся с теми... – и жест рукой в сторону крыла «К».

– Боже сохрани! – восклицал я. Понять нетрудно: кому нужен сторож, пусть интеллигентный и пять раз честный, но который еще вчера выпивал с загульными командировочными?

Я на месте. Пришел. С некоторой торжественностью (в процессе перехода из комнаты в комнату) я включаю свет. Даю – самый яркий! И плюс расшториваю окна, изображая жизнь в квартире Соболевых – их присутствие для некоторых любителей чужого добра, интересующихся с улицы окнами. В сторожимой мной квартире я спать не обязан: только проверить вечером. Еще одну я пасу на седьмом – квартиру Разумовских.

По пути туда (возможно, простая инерция) я вновь нацелился к фельдшерице Татьяне Савельевне: в этой стороне (в этой сторонке) и квартирki победнее, и мужики куда попроще, похрипatee... Прежде чем постучать, вновь выглянул в окно: нет ли внизу грузовика? (Нет.) Надо бы все-таки иметь повод, чтобы будить женщину в час, близкий к ночи.

Пораненная рука – вот повод. (Уже заживала.) Я поддел струп ногтем, боль вспыхнула – какое-то время смотрел, как пузырится (несильно) кровь. Скажу, что задел.

Татьяна Савельевна помогала общажному люду и после работы – перевязет, таблетку даст. Но к двенадцати ночи фельдшерица, разумеется, ворчала на приходящих: что за люди, надо же и честь знать!.. «Мы уже спииим» означало, что шофер у нее в постели. У него рейсы Москва – Ставрополь – Москва, а он спит! залежался! (Не потерял ли он, дальнобойщик, работу?) Ладно. Пусть поспят. (Я добр.) Карауля жилье Разумовских (почти рядом), я уже месяца три как с удовольствием навещал ее чистенькую квартиру. Я свел знакомство, когда травмированная левая рука вдруг пошла нарывами. Приходя на перевязку к ней домой (не таскаться в поликлинику), я заглядывал уже ежедневно, а ее муж, то бишь шофер, подзарабатывал в эти дни на юге большие деньги.

Раз, вернувшись внезапно, шофер нас застал, но не понял. Татьяна Савельевна как раз уже бинтовала (повезло) – к тому же шофер увидел мою травмированную руку, алиби на нынче, да и на будущее. За деньги она лечит мою лапу или из жалости, не знаю, как она ему объяснила.

Шофер что-то чувствует; и опечален, как мне кажется. Но я и он – мы ведь редко видимся. В другой раз он уже вернулся в явно неподходящий момент, Татьяне Савельевне пришлось срочным порядком поставить на стол нам бутылку водки, и мы с шофером довольно долго говорили о Горбачеве и Ельцине. К счастью, бутылка нашлась, а разливать по стаканам – это уже как трубка мира.

Я ценю не только ее уютные, теплые кв. метры, ценю ее тело. Некрасивая женщина, но с опьяняющим телом, временами я даже ее побаиваюсь (ее тела), то есть сдерживаюсь, веду счет. Как бы не insult. Однажды совсем забылся, увлекся, едва-едва отдышался после. Слава богу, медикаменты под рукой. Она прибрала их, припасла, когда еще были дешевы, – так она говорит. Я думаю, наворовала. Она не считала воровством, конечно. Ведь все было общее, наше. Но в последнее время ее характер портится. Тоже показатель. Возможно, кончаются медикаменты. А возврата к старым временам не предвидится.

Но уж какая есть, за то спасибо. Я благодарный человек и честный потребитель, мне хватает ее тела, ее лона и (особенно в первые минуты) ее светлой плотской радости. Ничего больше. Мы с ней даже не говорим. Одно-два слова скажем, но и те в пустоту и как бы винясь друг перед другом (мол, жаль, что умеем разговаривать) – и мелкими шажочками, скок-поскок,

все ближе к постели. Ага! – все-таки вспомнил. Штрих. Когда Татьяна Савельевна смазывает йодом ранку, она вдруг дует на нее изо всех сил (дует, дует!) и спрашивает, просветленные глаза, словно она девочка, а мне годика полтора, самое большее – два:

– Не больно?.. Уже не больно?

И снова ласково дует.

Шофер нагрязнул. Срочно появилась вновь на столе водка, мы выпивали. Дик. Небрит. И плюс новоприобретенная привычка вращать глазами. Казалось, он все думал о моей руке, когда же, мол, наконец вылечится. А я думал о ее теле, поддразнивая себя, мол, для старого андеграундного сердца можно бы женское тело и поскромнее, попроще. Не пожалеешь сердца, пожалеешь самого себя.

Он явился некстати и по времени, и в опасной (для нас) близости от постели, скок-поскок – я уже раздевался.

– ...Петрович. Оставайся у нас ночевать... Уже поздно. Ну, куда ты пойдешь! – заговорила, заспешила Татьяна Савельевна (я даже подумал – нет ли намек, мол, рано поутру шофер куда-то уедет. Но намек не было. Просто бабья доброта. И чуток волнения.)

Однако шофер сказал:

– Не. Надо вдвоем побыть. Соскучился я...

И выводит меня. (У него, мол, вторник-среда дома, отсып.)

Я вышел побродить вокруг ночной общаги. Подышать. Никакой тоски; не было даже ощущения неудачи, как бывало иногда в молодости. Ничего не было. Старый пес. (Вернусь ночевать к Соболевым. Почитаю.) Шел улицей и думал о теплом одеяле Татьяны Савельевны, о ее сочном сорокалетнем теле.

Меня едва не сбил автобус.

* * *

У Соболевых я варю себе замечательные каши. (Нет-нет и облизываю крупную ложку, каша пыхтит.) Варю я полную кастрюлю, крупы Соболевых мне раз и навсегда разрешены.

Каша попыхтит на малом огоньке, после чего я закутаю ее в одеяло – осторожно, ласково этак, я знаю, я умею. Каша будет жить, дышать, ждать меня в любой час дня. Могу уйти, пройти по этажам. Коридоры...

* * *

Шофер за столом, Татьяна Савельевна с ним рядом, она ему как своя же рука, нога, как собственное ухо, вся ему доступна и больше, чем доступна, – привычна. Но, хочешь не хочешь, наша с ней близость тоже в ней что-то меняла, и ночь от ночи Татьяна Савельевна, к новизне чуткая, делалась и сама уже сколько-то иной. (В женщине это медленно, но неизбежно.) Шофер, только-только из рейса, пока свежий, тоже что-то новое чувствовал, – шофер переводил взгляд с нее на меня, и мало-помалу в нем буравила мысль: мол, чего в жизни не бывает, перемены в бабе от времени или от присутствия козла? (Полагаю, он мысленно так меня окрестил, и я стою сравнения, шастающий по этажам, стареющий и обросший. Правда, непохотлив я. Просто житейский, на подхвате образ. Не нами и не сегодня придуманный. Просто козел.)

Треугольник в наши дни так же естествен, как водка, бутылка на троих. Сижу напротив них: расслаблен, не напрягаюсь ничуть. Да и шофер то ли все думает, то ли не думает свою невнятную думу. Возможно, что в треугольнике (имею в виду не быт, а суть) уже давным-давно нет ни истерично-женского, ни дуэльно-драчливого напряжения трех его вершин. Кончилось. Славные предшествующие два-три века вычерпали и выели из треугольника весь вкус былой

драматургии. (Можно жить, не спотыкаясь. Если не дурить.) Ночью я обнаружил грудь Татьяны Савельевны всю в страстных синяках, шофер только что уехал. Я тоже постарался в эту ночь, особенно любя другую ее грудь (случайно). Утром она стояла перед зеркалом, глядя на обе в сливовых цветах. Сказала, смеясь:

– Ну-у, разукрасили!

* * *

Ее тело узнается без подсказок. Ее чувственность нехитра, но выражена сильно; она хочет тебя так, а не иначе, не потому, что желание, а потому, что матерая хватка как вековая колея. Как запечатанный мед.

На столь хорошо проложенных путях однажды вдруг понимаешь, что в точно таких же движениях и в таких привычках ее имеет ее шофер. И – никакого треугольника. Я совпадаю с ним. Я вдруг узнаю (в себе) его живые подробности. Нет, не пугает, но ведь удивляет. Эта остро узнаваемая, но чужая радость – как повторение, почти подгляд. Моя рука движется, как его. Мой отдых такой же расслабленный, дремный, на спине. Притом что во мне вертятся его сонные желания, затребованные ее женским присутствием рядом, ее телом. Его шоферское хриплое першащее горло, взгляд, кашель, сигареты, я даже как-то купил те самые сигареты, которые он курит.

Совсем удивительно: поутру у меня болят руки от его тяжелой автомобильной баранки. (Никакого переносного смысла – по-настоящему ломит руки, тянет.) Ночью снилась полуосвещенная ночная дорога, тряска, ухаб, и я вдруг сделал резкий поворот, бросая грузовик вправо, к проселку, чтобы не въехать на поломанный мост.

Он привез оружие с Кавказа... мол, пригодится, когда за рулем днем и ночью. Заработал хорошие деньги, купил ствол, патроны, а чечня из палаток подстерегла и отняла.

Меня задело.

– Что ж не постоял за себя?

Он засмеялся:

– Жизнь дороже.

* * *

Ночь летняя, теплая, четыре утра. Я у окна. От полноты счастья высунулся из окна фельд-шерицы (она в постели) – выставил на волю голову, голые плечи. Курю. Ночной кайф. Отчасти я уже выглядывал в сереньком рассвете корпус знакомого грузовика. Шофер иной раз прибывает раненко утром. Возможно, и уйти мне надо бы сейчас же, поутру. Но расслабился. Курю. Минутное счастье полезно. (Как момент истины.)

Вижу у палаток – внизу – бревнышко (я так и подумал в рассветной мгле, что лежит, забыли, выкатилось укороченное бревно). Оказалось, труп. Под окнами – меж кленов – выскакивала на свет фонарей узкая асфальтовая дорожка, вдоль нее три палатки с торгующими в дневное время кавказцами. Они там ссорились, выясняли, делили сферы влияния. Они и мир установили сами – помимо милиции. Но, как видно, не бескровно. И не бесследно. (Бревнышко выкатилось на фонарный свет.) Возможно, я и увидел его первый. Но, конечно, и бровью не повел. Лежит и лежит. А я курю. Ночь. Тихо.

Утром – позже, когда уже шел в булочную, – я его вновь увидел: возле той же палатки. Мертвый кавказец. Застреленный. (Его сдвинули к краю асфальта, чтоб было пройти, перекатили, лежит на спине.) Моросит дождь. Газетка, что на его лице, все сползает, съезжает и все темнеет от мелких дождевых капель. Ждут милицию. Слухи: чечены (владельцы левого

киоска) враждуют с кавказцами двух других киосков, уже объединившихся для отпора. Одного пристрелили, двое подраненных, один в реанимации: ночные счета.

Он лежал в ту предутреннюю минуту на боку, мертвый, а я выглядывал в полутьме грузовик и покуривал. Светало. Я уже видел, что у укороченного бревнышка есть руки и ноги. Одна рука активно отброшена в сторону: будто бы он жил, просил этой рукой у меня сигарету. Лицо открыто. И утро встречает прохладой. Тихо. Грузовика не было. Но я подумал – все-таки пойду.

Когда возился с ключом в двери, фельдшерица сонно спросила:

– Руку перевязать?

– Не.

* * *

Коридоры, в растяжке их образа до образа всего мира, видел однажды (по крайней мере однажды) и мой брат Веня, когда-то гениальный Венедикт.

Неучтенной суммой легли целые километры этих натоптанных переходов, и лишь условности ради можно представить, что Венедикт Петрович вышел из кабинетной паутины прямо и сразу в коридор своей нынешней психушки: вышел и оглянулся туда-сюда. А в коридоре медленно шли люди в больничных серых халатах. А еще шли (но чуть быстрее) люди в белых халатах. Жизнь по правилам. Жизнь тиха и закономерна.

Он вдруг сообразил, что попал в совершенный мир в очерченной его полноте: в метафизику палат и строго пересекающихся больничных коридоров. На миг Веня усомнился – это весь мир?.. Задумавшись, остановился, щуря глаза. Стоял спокойно. Санитар его видел. Этот санитар, тоже человек и тоже стоял спокойно, отдавая должное магии пересекающихся коридоров – чуду перекрестка. Застыл тихий час. Веня, обратившись, сообщил санитару, что если это и есть весь мир, то он, Венедикт Петрович, хотел бы кое-что в нем сейчас же отыскать, найти. Он должен, но никак не может найти нечто свое в одной из палат (возможно, свои разбросанные по миру рисунки): в этой палате? или, возможно, в той? – Плечистый санитар отреагировал незло, бывает и у санитаров. Мол, потерял – поищи. Больной человек, и пусть, мол, пойдет да сам убедится.

И Венедикт Петрович, ему разрешено, искал: входил и смотрел. В одной, в другой палате. Он даже вернулся к коридорному перекрестку, к столь редкому добродушием санитару и – сориентировавшись – направился теперь уже в обратный ход и изгиб, в левое колено больничного коридора. Там тоже искал. Заходил, глядел на койки. На тумбочки. На лица сидящих больных. (Во всяком случае, он тоже искал в коридорах.) Искал ли Венедикт Петрович рисунки, трудно сказать. Или свои ранние наброски углем? Или (что случается и со всеми нами) он искал в коридорных изгибах всего лишь свою молодость и себя, молодого и хохочущего; бывает.

Венедикт Петрович вернулся к санитару и стоял около. Тот спросил – и вновь добродушно:

– Ну что?..

Веня (он уже заметно седел, старел) пожал усталыми плечами – мол, не нашел. Мол, что-то никак.

– Ну, в другой раз, – сказал санитар.

Венедикт Петрович кивнул: да... Как все их больные, он послушен и понимающ (и с готовностью долго-долго ждать). В другой так в другой, он не спорит. Возможно, в другой день и раз память обострится, коридоры, палаты, стены вдруг откроются сами его глазам – и он тотчас найдет, что искал (что именно, он не помнил). Он вяло плелся по коридору. В потрепанном больничном халате.

Навстречу уже шел я, принес ему яблоки и к чаю сушки.

НОВЬ. ПЕРВЫЙ ПРИЗЫВ

Гаврила Попов, а за ним другие, рангом помельче. Затем еще и еще мельче, а когда калибр уже с трудом поддавался измерению – она, Вероничка Струкова, объявили про нее от такого-то района города Москвы, демократический представитель. Про стихи не забыли. Мол, это и есть ее главное. Андеграундная маленькая поэтесса. Не с огромным бантом, а со своей смешной темной челкой. Маленький звонкоголосый политик с челкой на брови. Ух какая! Она тоже ратовала, чтобы московский люд вывалился на проспекты и площади как можно большим числом – объявленный митинг, надо же показать властям, что мы и хотим и можем! Мы – это народ, подчеркнула.

– Ладно, ладно. Придем, – ворчул я, одним глазом в телевизор, другим в цветочные горшки Бересцовых. Полить цветы водопроводной водицей. Другая из моих забот у Бересцовых – унитаза: раз в день дернуть цепку, спустить из бачка воду. (Иначе у них застаивается; и несет тинной.) Я дернул дважды кряду.

Шум низвергающейся воды заглушил на миг пламенные ее призывы. Но сам телевизионный овал на виду: Вероникино лицо, конопушки.

– ...Мы все придем! И не надейтесь (вероятно, в адрес коммунак) – мы не забудем час и не забудем площадь! – выкрикнула (вновь зазвучав) Вероника. Обе знакомые конопушки были на месте. Близко к носу. И ячменек проклюнулся возле правого глаза (небось на митинге ветрено).

Но под глазами чисто. Ни кругов, ни знаменитых ее темных припухлостей, молодец!

– Ладно, ладно, приду! – вновь пообещал я, ворчливый. Вода уже лилась в цветочные горшки. Тонкой струйкой. Вот такой же струйкой Вероничка влиwała в себя вино – брезгливо и кривя ротик. Но полный стакан. И второй полный. Она была пьянчужкой, прежде чем стать представителем демократов от такого-то района. Хорошая девочка. Стихи. Возможно, андеграунд не настоящий, заквас на политике. Но все-таки стихи. Пила-то она по-настоящему. Тем ранним-ранним утром она задыхалась и бормотала: «Никакой «Скорой помощи». Никаких врачей...» А я и не собирался ей никого звать; пожил, повидал и достаточно опытен (знаю, как и чем в крыле «К» снимают тяжелое женское похмелье). Обычно я забирал и уводил ее от Ивановых, Петровых и Сидоровых, от приезжих из крыла «К», от всех этих командировочных – веселых и по-своему бесшабашных людей, если объективно, но субъективно (для меня, для моих усилий по ее вытаскиванию) – гнусных и грязных. Мне уже осточертело. Чтобы оборвать, не точка, так хоть запятая, я как-то взял и отвез ее (потратил время) к стареньким родителям, у которых она жила. Но где там! Опять Вероничка замелькала здесь же – вернулась сюда же и попивала с теми же, без особого драматизма, жизнь как жизнь, серенько и ежедневно.

Я ей пересчитывал конопушки, отвлекал. Стуча по скату ее щеки подушечкой пальца, вел учет: две, три, четыре... – пока не оттолкнула, мои руки воняли ей дешевым куревом. В тот памятный раз я вырвал ее из рук среднеазиатских людей (как у смуглых детей; из их тонких, ничем не пахнущих рук). Ей было плохо. (Но ей и всегда было плохо.) Она задыхалась; рвалась на улицу или хотя бы в коридор. Я не пускал – она бы там стала реветь. Я подвел ее к окну, застонала. «Вот тебе воздух. Сколько хочешь! Дыши!...» – но Вероника не держала голову, совсем ослабела. Голова падала, по доске подоконника, по деревяшке – деревянный и звук удара. Я придержал ей голову, носом и ртом к небу, дыши. Обернул простыней. Как бы в парилке, завернутая, выставилась несчастным лицом в окно и дышала, дышала, дышала. Вдохи прерывались только, чтобы пробормотать не зови «Скорую», прошу... – не хотела, чтобы белые халаты слышали, как от нее разит.

Мука похмелья, физиологическое страдание выказать многого ей не дали: на лице едва пробивалась блеклая и краткая попытка нежности. Тем не менее место на подоконнике в крыле

«К» было тем особенным местом, где ее лицо впервые пыталось выразить мне неустоявшуюся еще любовь. (Фонарик в руках подростка: вспыхнет – погаснет, вспыхнет – погаснет.) Я забыл этаж, где происходило, колеблюсь, пятый ли, шестой или даже восьмой? – но уже независимо от этажей и от коридоров существует (в памяти) этот подоконник, а на нем, где ее лицо, небольшое деревянное пространство (с ладонь, с две ладони). Как бы экраном плохого прибора, ее лицом посылались в мою сторону невнятные промельки любви.

Я не был сильнее тех восточных людей из Средней Азии, приехавших в Москву торговать дынями (их четверо, я один), я не был крикливее, ни злее, ни смелее, и не был, думаю, нравственнее их – не превосходил никак и отнял Вероничку, сумел ее отнять потому лишь, что был опытнее. Так сложилось. Я давно в этой общаге, а они только-только. Да и понять замысел четверых куда проще, чем угадать порыв одного. Именно что порыв! – самое примитивное движение души. Боль, болевой порог. Если рядом опустившаяся (к тому же обиженная, жалкая) женщина, хочется тотчас не только вмешаться, но и быть с ней. Тяга скорая – на инстинкте – и чувственная; можно было бы по старинке этот порыв назвать любовью. Я так и назвал. Я спокоен в обращении со словом. «Почему ты не пишешь о любви?» – спросила как-то Вероничка, наивная и, как все поэтессы, спрашивающая в упор, а я, помню, только пожал плечами – мол, люди не вполне знают, о чем они пишут.

И я, мол, тоже не вполне знаю, о чем пишу. (Вернее, о чем уже не пишу.) Я мог бы объяснить человеку стороннему. Пришел, мол, да и сама цель обнаруживаются далеко не сразу. Но как было объяснить Вероничке, уже трезвой, что любовь к ней, возможно, и не существует для меня как чувство, если не поддерживается теми самыми подоконниками. Тем нашим подоконником (на пятом или на восьмом этаже, я забыл), на котором в тот час она дышала частыми рваными вздохами, рыба, подпрыгивающая на береговой траве. И с которого (с подоконника) мы вместе с ней (она постанывала) убирали следы всего того, что выпил, но не вынес ее скромный интеллигентский желудок. Как на китах – на подоконниках. Не на трех, так на четырех. На обычных, деревянных и скоропортящихся от заоконной сыри подоконниках (не вечных, я не обольщаюсь), – на них любовь и держится.

– Поэты так не думают, – отмежеввалась Вероника.

Я согласился. Разумеется. Я сказал, что и вообще в этом смысле поэты меня восхищают.

– Чем? – она мне не верила.

Я пояснил – высотой духа, то есть своей всегдашней готовностью биться за постель.

– Фу!

Метропоезд стал притормаживать у «Тверской» – людей в вагоне негусто (все сидели, мы тоже).

Тут я вспомнил, припомнил ей, что проезжаем сейчас под стареньким зданием, особнячок, где литбоссы взяли Платонова сторожем и подметальщиком улицы. Не под – а рядом с Тверским бульваром, ответила Вероника, рядом с Пушкиным проезжаем (она всегда возражала мне Пушкиным) – с Пушкиным и с кавалергардами, с той, ах, ах, краткой ренессансной порой русской жизни, что все еще нам снится как недостижимая.

Худенькая, она ежилась (в вагоне сквозило). А я про свое: я уточнил ей, что мы сейчас как раз под тем двориком, где он скреб своей андеграундной метлой. Шаркал и шаркал себе потихоньку, растил кучу мусора. Но (опять же!) и под той землей, сказала Вероника, которую топтали ноги Пушкина. Я засмеялся. К чертям споры. Москва – великий город, всем хватит. Величие здесь как раз и припрятано, пригрето тем уникальным состраданием, которое одновременно и убивает тебя, и умиротворяет, шарк, шарк метлой (жалей, жалей, жалей всех, только не себя!). Москва растворяет и тем самым перераспределяет нашу боль. Тут не с кем стреляться, всем понемногу нашей боли хватит. Пушкин уцелел бы, не помчись он в Петербург. В Москве он бы всерьез занялся (вымещение страдания) сооружением небольшого памятника няне. Хлопотал бы. Писал царю... Я дразнил ее. (Но не только болтливость под стук колес. Я уже

чувствовал, что Вероника от меня уходит.) Что касается любви, продолжал я Веронике, мне (извини) хочется любить заплаканных женщин. Но не писать же о них! Писать о любви – это всегда писать плохо. Скоропортящееся чувство. Платонов был особенно хорош тем, что всем им, уже одуревшим от неталантливости описания любви, он противопоставил иное – в частности, неписание о любви вообще. Неудивительно, что читавшие его взвыли от восторга. (Как только он умер.) Весь русско-советский мир пал ниц. Вот с какой силой (вот насколько) они почувствовали облегчение. Были благодарны. Их перекосившиеся, истоптанные бытом (плохо и натужно любящие) души нуждались в неупоминании о любви. В минуте молчания. В паузе.

– Перестань же!.. – она, поэт, тщила вновь и вновь окоротить, а то и повернуть к Пушкину. К кавалергардам, чьи кудри и бачки изрядно подзабыты (засыпал снег)... А если бы он (Платонов) написал о людях вообще бесполом, о людях, размножающихся прикосновением рук, – а ведь он мог бы под занавес и вдруг, в конце своей подметальной жизни! Конечно, не прямо и в лоб, а как-нибудь особо; с космизмом и одновременно (как топчущийся дворник) с русской робостью перед запретной темой. Если бы он хоть сколько-то написал о них (об однополых), не только русский, но и весь мир взвыл бы от восторга. Пали бы ниц. До сей поры его бы превозносили. Славили бы. (А как бы свежо истолковывали!) Но он предпочел неупоминание, асфальт на Тверской, брусчатка, каблуки проходящих мимо женщин, взгляд неподнимаемых отекающих глаз и монашеская работа рук, шарк, шарк метлой...

* * *

Завернутую в простыню, я так и положил Веронику в постель; оставил в тиши, пусть заснет. Запер комнату. Стоял, выжидая, – и вот в полутьме коридора, мягко, кошачьими шагами ко мне подошел среднеазиатский хрупкий мужчина (один из тех, что попользовались втроем, четвертый мертвецки пил). Очень деликатно он спросил меня:

– Не знаете ли, в какой комнате проживает девушка, довольно милая, высокая, чуть с рыжиной глаза?.. (Однако же наблюдательность! Портретист.)

– Не знаю, друг мой.

– Она, видите ли, просила нас. Меня лично просила: утром с ней встретиться.. Необходимо предупредить ее о поезде... – деликатно лгал он, заглядывая мне в самые зрачки. Карие красивые глаза.

– И о поезде ничего не знаю, друг мой.

Мы смотрели с ним глаза в глаза, оба честно. Он еще сколько-то настаивал. Он, видно, сожалел, что, влив в нее спиртное, они спешили, попользовались в спешке (когда хорошо бы с лентой и с ней. Жаль! А потом расслабились. Куда она пропала?). Конечно, московская блядь для них не в новинку. Все-таки жаль упустить. А то, что в ней, в женщине, возможно, плескалась еще и капля еврейской крови, доставляло им, восточникам, дополнительное удовольствие.

– Не знаю, друг мой...

Сделав наскоро по коридорам и этажам заматающий следы круг, я к Веронике вернулся. И очень кстати. Потому что пришлось опять подвести ее к окну, как раз к тому подоконнику, где она дышала (блеванув на пол последнюю малую горстку). Когда там, щекой на подоконник, она постанывала, набираясь кислорода и малых сил, я уже знал, что буду любить. Я угадывал надвигающееся чувство. Сердце делалось тяжелым. (Нет чтобы поплыть, подтаять, как в молодости. И, разумеется, мне захотелось любить. Речь не о постели, мы уже несколько раз спали до этого.) Я помогал ей умыться. Я поругивал, выговаривал, я укрывал простыней – ко мне пришли (вернулись) движения рук и слова. Предлюбовь, когда любовь уже в шаге. В такие дни мокрое, скользкое сердце (вот образ!) набухает, становится тяжелым, как от застойной воды. Сердце – как огромное ржавое болото со стрелками камыша, с осокой, с ряской и с бесконеч-

ной способностью вбирать, заглатывать в себя. В него (в болото) можно теперь бросать камни, плевать, сливать химию, наезжать трактором, загонять овец – все проглотит.

* * *

Тем заметнее, что повестей я уже не писал. Слова, колодезная привычка, скапливались, достаточно много точных и залежавшихся нежных слов, но нацеливались они не на бумажный лист, а на это пьющее, утратившее себя существо. Худенькая пьянчужка, не умеющая за себя постоять. (Стихи ее мучили? Или их непризнание? – она так и не сумела в этом определиться.) Пала духом. Командировочные, водочка в розлив, ну, темная ночь, выручай!.. Я отыскивал ее в крыле «К», иногда в ужасающих своей заплеванностью и грязью местах, в жутких компаниях. (Им она и объясняла, какой она гений. Читала стихи.) Однажды была совсем голая. Уже в дым. На кровати лежала, и в самом дальнем (от их застолья) полутемном углу. А они продолжали пить. Мужики – предполагаю – нет-нет к ней наведывались. Во всяком случае, если пока что не произошло, не было в полной мере (один-то был, кто-то же ее раздел), то должно было произойти неминуемо. Они ее, понятно, не отдавали. «Что лезешь?! Мы тут без тебя... Мы ее поили! Она наша, отвали!» – кричали командировочные (волгоградские на этот раз), но я тоже уже кричал, матерился. В конце концов опыт общажника помог мне затеять драку, столь необходимую в типовой ситуации, когда они все-таки боятся шума и огласки, а ты нет. Я ее еле одел. Один из ублюдков (была, видно, с ним еще не совсем пьяна и не давалась) развалил надвое ей трусы бритвенным лезвием, открыв для всех скромное женское лоно, курчавый над ним хохолок. Теперь с этими трусами, как я ни прилаживал, как ни придерживал их, не получалось. (Пока не сообразил, что они разрезаны.) Все это время я заслонял ее, а левой рукой кого-то отталкивал; сзади меня стоял ор, крик. И кто-то из них, из волгоградских, суетясь и возбужденно подпрыгивая за моей спиной, тыкал пустой пивной бутылкой мне в лопатку. (А я вдруг ощутил лопатку как часть тела. Я понял, как это близко. Так приближаются к нам наши завтрашние дни – набегают, как по небу тучки; и не меняется ветер.)

Взял ее на руки, но нести невозможно, голова закидывалась, отчего внутри Веронички начинало опасно булькать, и чуть что – рвало. Поставил на ноги. Вел, обнимая ее и удерживая, именно что алчно, неуступчиво (как свою, наконец, долю в чужой, в их добыче). Вел, а командировочные все материли меня; один из них особенно загораживал мне дорогу.

Помню, я возопил злобным криком:

– Да вы уже все отметились по разу! *Чего* вам еще надо?

– Не твое дело! – орали они. – Она пришла с нами! Она пила с нами и уйдет с нами!

Мужчина и женщина бывают, скажем, умны, настороженны, а вот отношения меж ними – наивны. Или даже так: оба злы, а отношения меж ними нежны и слезливы. Чувство, возникнув, имеет свой стойкий, но подчас случайный рисунок – можно его отличить и можно даже как-то предугадать (исходя из ситуации), но не переделать. Что получилось, то получилось. Прими – и не сетуй. Отношения с Вероникой получались сентиментальны и доверительны, независимо от того, какими людьми мы были оба. Жалковатое чувство; но у людей сейчас нет лучшего. Я жалел ее – она давала жалеть себя. Тут тоже крылась взаимность, угаданная обоими как обязательная сердцевинка. Я жалел. Ох-ах. Все-то она, маленькая Вероничка, ошибалась в подробностях жизни. Разбила коленку на улице – или вдруг отравилась в столовой котлетами, съела две. Или ее оскорбила мороженщица. («И ведь ни за что!..») Или она высказала милиционеру (прямо на улице – замечательный оппонент) все, что она думает о служках уходящего тоталитарного режима. А он вовсе даже не свел ее в отделение, а так дал в ухо, что ухо воспалилось и две недели текло, пришлось пойти на процедуры. Записывал и пере-записывал ее к врачу я (разумеется!). Сам с ней в поликлинику днем, а вечером сам же ей компресс, вата, да пригоршня водки, да лоскут целлофана – мне не трудно, ей приятно. Веро-

ничка не была сексуальной, но мы оба и в этом обнаружили, пусть с запозданием, достаточную друг в друге новизну. Ей так кстати пришлось (припела) постельная страсть – со стонами и с веселящими меня ее вскриками (и с милым ее смехом). Смеялась в постели, это удивительно. И так чудесно смеялась! Вся эта бытовуха запойных ее отклонений (общежитско-командировочно-водочных) не свелась ни к страданиям, ни к надрыву; за все наше время одна короткая истерика, скорее женская, чем ночная, – пустяки! Да ведь и «падшей» Вероника была лишь номинально и внешне: падшей, но не несчастливой. Напротив – на ней были оттиснуты четкие следы прошлых отношений, ясных и не ущербных; кого-то она любила. До меня.

* * *

За окнами огромный, на семи холмах, город. Мы в постели. Вокруг нас только-только кончившаяся брежневская эра и наступившая новая пора. Новые, во всяком случае свежие, слова бубнит репродуктор. Свежа музыка. Мы на хорошо застланной постели, простыня не сбита, и легкую эту опрятность, с чистотой и с подогнанными краями, я не то чтобы ценю, но, как той же свежести, ей радуюсь и ее помню (удерживаю в себе). У нас есть портвейн, дешевый, конечно; колбаса, хлеб и чай. И кипятильник, чтобы не бегать на кухню. Любовь в суровой общажной комнате, придавая которой обновленное значение (значение любви – но и комнате тоже), Вероничка говорит:

– Никогда б не подумала, что в гадюшнике (в крыле «К») такое со мной может быть!

То есть такое хорошее – ей хорошо. Для нее уже значит и место. Самообнаружение женщины, удивление женщины месту, в котором она себя нашла, – это как первое оседание ее переменчивой пыльцы на стенах комнаты, на стекле окна, на подоконнике. И конечно, на постели, где опрятные простыни. У самой женщины тоже, казалось, засверкали белизной хорошо подогнанные уголки и в линию край. Вся на своих семи холмах. Большеглазая худышка.

Вероника читает вслух неизданное. (У нее все неизданное. Ни строки.)

На лужах <...> пузыри —
Веселые дети дождя.
Коротка и полна мгновеньем
Гениальная их жизнь... —

помню, увы, приблизительно. Но зато отчетливо помню, что как раз закипала в стаканах (в граненых) вода под чай. Мельчайшие вспененные, белые, а затем крупно взрывающиеся пузыри (с их мгновенной жизнью) образуют чудо совпадения. Кипящий стих. Опершись на локоть, лежа, не отрываю глаз от бурлящей воды, пока Вероничка не одергивает:

– Стакан лопнет... Заваривай, Петрович!

И учит меня самоварной мудрости:

– Чай надо заваривать в белом кипятке. Ты не знал?

Звала, конечно, Петровичем – разница в двадцать лет (с лишним) не шутка. Меня все теперь звали так. Старая, я почти с удовольствием утратил, а затем и подзабыл свое имя. («Напрасно! Самый раз для поэта-декадента!» – смеялась Вероничка.)

– Петрович. Позовем как-нибудь Свешниковых?

Все хотела зазвать к нам на долгий, с конфетами, чай Свешниковых – молодую пару, что соседствовала, проживая через две комнаты от нас. Помимо сменяющих друг друга командировочных, в крыле «К» жили также люди приезжие по найму: лимита. Готовые вкалывать где угодно (в метрошахтах по колено в воде), они теснятся по двое-трое в комнате. (Со слабой надеждой на жилье.) Бедны. И слишком часто неоправданно злы. Прописки нет – и, стало быть (зато!), в этих коридорах их не найти. Затаились. Угрюмые люди. Но Свешниковы – исключе-

ние, чудесная молодая пара, так и светящаяся сиянием первой влюбленности и доверчивости (и такого легкого земного счастья). С ребеночком. Они охотно разговаривают со мной. Улыбаются. А меж тем и над ними витает беда. И вина. Как я узнал (по-тихому сказали), они оба удрали с Волги, где жили и где провинились в маленьком городишке. Она была там женой, и не чьей-то, а его же старшего брата, которого взяли в армию. Сошлась с младшим, когда прошел год. Жили скрытно. Каждый час вместе – на тайном счастливом счету. Не дожидаясь возвращения старшего брата, дали деру. С пузом на седьмом месяце. Их устраивает, что у них нет прописки. Что никто их не отыщет, не спросит. Три-четыре года проживут, а там видно будет.

– Позовем на чай Свешниковых, а?

– Позовем. – Я был согласен. Такое светлое пятнышко на этаже эта молодая пара среди шатающихся алкашей. Среди рож, среди изнуренных зануд-работяг да еще привезенных откуда-то старух, их тещ, спующих по этажам и хрипато ворчащих, чтобы скрыть попердывание на неровной лестничной ступеньке.

– ...Оттолкнуться от дна и начать всплывать! – был ее тост. (Петрович – как глинное дно? или песчаное?) Но Вероника не расслышала моего шутивно-самолюбивого намека, торопилась чокнуться. Мы держим стаканы с нашим всегдашним портвейном, там уж на доньшке, я отставляю на минутку стакан и режу вареную колбасу (деликатесов не держим), а Вероника торопит: «Петрович!.. Ну, давай же!» Беру наконец стакан. Тогда она свой стакан отставляет, мой вновь забирает из моих рук – зачем? – а чтоб видеть, не отвлекаясь! – и смотрит глаза в глаза. Плачет. С таких, мол, минут (помимо счастливых постельных дел) и начинаешь ценить время, что-то в нем отсчитывать, а что-то уже оставлять себе на память.

Когда уходила, к ней пришла помочь собраться ее подружка (тоже, кажется, поэтесса и тоже молодой демократический лидер) – пришла почему-то с цветами. Словно бы Вероника выписывалась наконец из больницы. Цветы отложила в сторону. Со мной молчком. Закусив губу, собирала два ее платишка, куртку и пару свежих ночных рубашек. Еще и мятый платок – она пыталась платок зачем-то завязать узлом; потом стала заворачивать в бумагу. «Да погодите, – говорю я, – платок уложите на куртку, а в бумагу заверните-ка лучше свои цветы, заберите, не мне же вы их принесли, хорошие еще гвоздики, не все оборваны». Тут она на меня как окрысилась!.. А Вероничка сидит на стуле, обхватив голову, раскачивается и воет:

– Уу-уу... Уу-ууу...

Я смотрю, как ее подружка швыряет в сумку тряпку за тряпкой, молчу, думаю, не забрали бы мою машинку! (Вероничка привыкла на ней печатать стихи.) Машинка – моя всегдашняя (первая) мысль при переменах. Не вижу ее. Где?.. Разволновался, а вспомнить где – не могу, полез в собранный ими картонный ящик (было не нужно, лишнее – но получилось машинально, руки сами искали!). Магазинный ящик из-под печенья, который они собрали, уже почти увязывая веревкой. Полез – а там, внутри, что-то упало.

– Ну вот! – вскрикнула подружка. (Обаятельная, но все нервничала.) Но я там не разбил, только загремело, упало, хрусталь. Вероничка купила, ваза (принесла, помню, сказала «под цветы»).

Тут Вероничка говорит (со смехом вдруг) – отерла слезы рукавом, перестала раскачиваться, как убивающаяся интеллектуалка, и кричит:

– Правильно. Правильно, Петрович! Давай, давай сюда – там вина бутылка. А хрусталь ерунда, не настоящий! Вино давай...

– Нет там вина. Хрусталь только, – говорю.

– Есть, есть. Ищи поглубже.

Я нашел, стал откупоривать припасенную бутылку. Подружка уж заодно вынула небольшой тот хрустальный вазон. (Вероника велела – вынь, вынь, пусть нашему старенькому Петровичу останется как память.) Налила в вазон воды, поставила гвоздики, еще не все оборваны, а я стал выкладывать колбасу и хлеб; сыра не было, сыр так хорош к вину. Я и подружка-поэтесса,

мы оба напоследок накрывали стол, а Вероничка умывалась в ванной. Умылась, навела на лице порядок. «Я только чуть». Лицо, мол, не будет ни слишком намазанным, ни нарисованным, не волнуйся.

За прощальным столом смеялись, Вероника мило шутила: она все, все, все понимает – я, мол, положил глаз на ее подружку-поэтессу, новизну любит всякий художник! А, мол, она, Вероника, уже поняла, что ей дана отставка. Все, все, все поняла, но дружбы ради позволяет поэтессе (кстати, Петрович, она очень талантлива) прийти ко мне, нет-нет, Вероника сама ее приведет в следующий раз, если уж я так сильно хочу! – обычный и милый вздор, треп женщины, когда она без ссоры уходит. И когда она на волне перемен. (Когда ее призвали!) А волна, подхватившая Веронику, уже вздымалась – там и тут нарождавшаяся, скорая и поначалу мощная волна демократов первого призыва.

* * *

И теперь Вероника занималась чем-то важным и нужным. Человек обязательно занимается чем-то важным, если он наверху. Я тотчас разлюбил ее. Возможно, потому, что я не умею дышать тем высокогорным воздухом. (Потому, что она ушла, а я вслед не захотел.) Очень даже хорошо представляю этот неминуемый наш семейный гротеск. Квартира. Наша квартира. И телефон беспрерывно. А сколько дел! (Два рьяных демократа.) Вероника ходит взад-вперед, говорит, жестикулирует, улыбается – все правильно, умно, замечательно, – она собирает ужин, хлеб режет, по телефону откровенничает. Все замечательно, а я смотрю на нее и ловлю себя на том, что я ее не хочу: ни в одном глазу. И такая смешная время от времени мыслишка – зачем это я буду сейчас ее, Веронику, раздевать? или ложиться в постель? – как только представлю, что я снимаю свои разбитые ботинки и (тихо) подпихиваю их в незаметный угол под кровать, меня одолевает смех. Мне хочется самому там остаться. Под кроватью. Где ботинки. Лежать и оттуда этак ее к себе в закуток подзывать, подпольный, мол, я: «Ау?.. Ау?..» – а она пусть себе там в постели лежит и недоуменно спрашивает:

– Где ты?.. В чем дело?

А я и объяснять бы ей не захотел – в чем. Да в том именно, что я любил ее только в ту пору (о ту пору, как говаривали наши предки), когда она была никому не нужная пьянчужка и знай скатывалась вниз – ниже и ниже, в смрадный мой закуток.

Как бы итожащий обмен взглядами на социумном перекрестке. И – пошли дальше. Разлюбив ее, я тотчас перестал *давать ей мои слова*, мое сущее, меня самого, а она (именно что в ответ) перестала давать мне, – я даже усмехнулся получавшейся двусмысленности, так простецки претендующей на правду наших отношений (и знаково, дашь на дашь, ее выражающей). На социумном перекрестке нас разделило большее, чем расстояние от района до района (где ее уже выбирали в представители), большее, чем от города до города. Страна – вот слово, которое подходит. Ей был уже не нужен ни я, ни мой щадящий душу портвейн. Были в разных странах. Могли позвонить. Могли встретиться. Мы могли вяло переспать, соблюдая условную верность и инерцию. Отношение исчерпалось. И если бы я все еще навязчиво разговаривал с ней по телефону, нет-нет встречался, видел ее или даже спал, то все равно не с ней (не с Вероникой, хотя бы и слышал щекой ее дыхание), а с памятью о ней, с остаточным образом, с ее фантомом – как иногда мы встречаемся, говорим, спим с женщиной, которая год как умерла.

Когда были вместе, она случаем проговорила: написала, мол, стихи о краткой любви на дне. Изящные верлибры, схожие стилистикой и формой с японскими пяти- и трехстишиями. Обрусевшие танки, говорила она с улыбкой. Для Вероники дно, сколь ни выкручивайся в поэтическом слове, было теперь ямой – яма, а вовсе не ее прежний старенький экзистенциальный образ дна и сна. Несуетный и чуть сонный, ты лежишь на дне водоема, в голубой воде

и на песчаном дне, а верхом воды, то есть поверху, плывут и плывут крупные и мелкие кучки. Сомнительная поэзия, но зримо.

Болит голова, болит душа,
<не помню...>
Но выражен звук,
Но падают капли, —

нет, не помню. Поэтесса и общественный деятель Вероника Васильевна А. никак не могла теперь сделаться для меня просто Вероничкой. Я знал (уже не от нее, а слухами), что ей дали квартиру, демократический и честный начальник в районном отделе культуры, что-то скромное и достойное – я был рад за нее. Рад за культуру. Рад и за квартиру. Воспринималось как жизнь. Вроде как надо же что-то и нам переполучить за двадцатилетние страдания. Вроде как все мы суть брежневские инвалиды, и сколько же еще уютиться молодой женщине в крохотной квартирке со старенькими родителями!

Помню один из плакатов, призывавший за нее голосовать (в новом районе Москвы), ее эффектный портрет и чья-то грязная подпись куском угля: *блядь...* Изошел желчью (возможно, по подсказке); мог прослышать и знать о ее былом пьянстве и об общажной кровати, о курчавом пепельном хохолке. Но мог и не знать. Просто злоба. Однако вряд ли все это могло теперь догнать ее вслед. А спустя время и уже после выборов Вероника вдруг вновь появилась в нашей многоквартирной общаге. Появилась всего на пять минут, нервничала, – пометалась по этажам, меня не нашла (я уже пас квартиры на северной стороне). Не имея времени, она оставила мне записку у вахтера – *очень, очень прошу*, просила прийти к ней, на ее работу (а почему бы не домой? и вообще, почему написано дрожащей рукой?.. я все пошучивал: глянул, нет ли слез капнувших, не было). Я не отнесся всерьез.

Но отправился. Подровнял усы. Еще раз осмотрел ботинки (мое слабое место). Однако день у Вероники Васильевны оказался неприятный. Я самую чуть не перехватил ее. Красивая. В платье и в жакете, стройная, с худобой. (Что, вероятно, подчеркнуто контрастировало с райкомовскими шишками недавних времен из этого же кабинета.) Мужчина шел рядом с ней, горячо клял коррумпированность начальства – мол, обманут вас, Вероника Васильевна, вот увидите. Я расслышал, как Вероника нервно и коротко бросила: «Пусть. Это еще *неудар!*...» – и улыбнулась в сторону. (Но не мне. Меня она не видела. Я только-только поднялся по лестнице. Я весь запыхался. А реплика между тем была моя.)

Горячий разговор Вероники (с кем-то из к ней пришедших) доносился теперь из ее кабинета. Они говорили о справедливости, которая запаздывает. Судя по отдельным их громким словам, Вероника и эти люди, что с ней, опять хотели (уже в который раз) переделать мир. Бог в помощь, вдруг удастся?! В приемной тем часом сидели дохлые старцы. Дохлые, хилые, жалующиеся, но пробивные. Монстры. Сорный люд из числа типичных московских попрошаек жалостно-наглого вида – чего они хотели от ответственного по культуре – денег? Зато мне понравились огромные старые кожаные кресла, которые ожидая (пока переделают мир) вновь величественно застыли. Индия. Спящие слоны.

Веронику стерегли два ее секретаря. Один юн, льняные волосы и лицо ангела, я к нему не захотел. Уж очень чист. С ним не поладить. Вторым оказался карлик (пока он сидел за столом, было не так заметно) – карлик со скорбными глазами и фамилией Виссарионов. Он тут же отфутболил меня, поскольку я пришел «по личному». Никаких личных вопросов. Для личных – пятница. Но говорил карлик приятно, самолюбия не задевал – и я тотчас расположился к нему. Я охотно кивнул на собственный промах: мол, как это я не угадал (забыл!) приемный Вероникин день?.. Виссарионов уже шел обедать, я потащился за ним (мог же и я захотеть поесть!). В обычной столовке съели мы с ним по отвратному борщу, по котлете. Ему хотелось

пива, но я его смушал. Переборов условность, Виссарионов пиво все же взял, чем еще больше мне понравился. Я взял тоже (хотя уже опасливо прикидывал, сколько там у меня шелестит в кармане). Я сел рядом и спросил – под пиво, – как бы узнать новый, нынешний адресок Вероники Васильевны? мол, ждать пятницу сил нет! – на что печальноглазый карлик опять ответил отказом, но опять же дружелюбно. Мол, такова служба. Если посетитель (или проситель) пойдет валом к Веронике Васильевне домой, что ж за жизнь у нее будет – разве не так?

И я опять кивнул – так.

– Мы были с ней дружны. Да вот следы потерялись! – осторожно настаивал я. Но тут карлик разглядел мои ботинки. Пауза. Он, правда, попросил назваться, но моя фамилия ему ни о чем не говорила. Карлик вежливо промямлил – мол, Вероника Васильевна вас, кажется, упоминала.

– В связи с чем?

– В связи с чем – не помню.

И не дал адреса. Приободрил – да не смущайтесь! И приходите на прием... Я согласился: разумно! Не мог же я ему прямо сказать, что не она мне нужна – я ей.

После пива я уже не хотел подниматься к тем огромным и в прохладе застывшим (спящие слоны) кожаным креслам. Иссяк. Пусть-ка сама меня отыщет. Раз уж у нее своя жизнь, свои заботы, свой адреса и свои карлики. Не дергайся, пусть поищет, сказал я себе. Она знает, где ты. Отдыхай. Лежи на дне и гляди, как над тобой (вверху) в голубой воде плывут кучки. Кучки покрупнее – кучки помельче. Вода прозрачна, солнышко светит, дерьмо плывет.

Казалось, я так легко ее (ее лицо) забываю.

Жатва.

Все ближе к гнезду сенокос.

Та-та-та... —

повторял я по памяти слова Вероники. (Плохо помню, меняю слова, но дорого само присутствие ее интонации – ее опосредованное участие в моем сегодняшнем чувстве.) Как раз в те дни мне впервые предложили посторожить квартиру богатые люди. Нет, не Соболевы. Жильцы с юго-западной стороны дома – как писателю предложили, прослышали. (Как говорится, слава его ширилась и росла.) И конечно, кое-кто из общажников и лимита крыла «К» хотели, чтобы на радостях я поставил им выпивку. (Обмывон.) Весело получилось. Я забавно рассказывал, как поехал к Веронике и как вместо нее пообщался за пивом с карликом, нет-нет и косившимся на мой левый ботинок.

Я ее помнил, но не более того; и никакая боль уже не болела.

Жатва.

Все ближе к гнезду человек.

И кружат, и кружат... <над срезом?> пшеницы —
две птицы.

Кажется, так. Хотя что-то помню.

Оказывается, ее обругали в какой-то газетенке, мол, демократка, по телевизору выступает, а сама обеими руками хапает! – и деньги, мол, и квартира, и мебель прямиком из Финляндии. Другая газетенка тут же перепечатала. (Кто ни лает, а ветер носит.) Ахи-охи! Вот дурочка. На что ты годна, моя девочка, если из-за такой мелочевки срыв?.. Она стояла прямо передо мной. (Нашла-таки, постучала, я ей открыл, как раз сторожил у Лялиных, первая из юго-западных доверенных мне квартир.) Мутно на меня глядя (уже выпила), буркнула:

– Дай денег.

Я чуть не рехнулся. Онемел. Как в былые времена. Она, Вероника А., только-только с телеэкрана, говорит мне, люмпену, агэшному писателю без копейки:

– Дай денег. Мне надо на бутылку.

А если промедлю или не так скажу, вмиг рванется и убежит к кому-то еще. Окажется на виду. (И на слуху.) Я полез в карман (и сделал полшага вперед, не поднимая на нее глаз). Полез в другой карман (тоже будто бы в поисках денег) и сотворил еще полшага; расстояние сократилось – хватать за руку. Втащил в комнату. Все в порядке, отсюда ни на волос! В холодильнике нашлась бутылка, не моя, Лялиных (вдруг *увидел* водку – я к водке могу месяц не притронуться, если чужая; могу просто забыть). Но тут я влил в Вероничку чуть ли не всю бутылку. (Не всю, я тоже, конечно, пил.) Напоил. Еще и пива плеснул, чтобы ее сморить. Уснула...

Четыре дня и четыре ночи жила она у меня, никуда не показываясь. На второй день было полегче, мы уже пили бормотный портвейн, мой, дешевый (на водку, честно сказать, и денег не было). Пили помаленьку и – говорили, говорили – удивлялись тому, как долго не виделись, кипятильник, наш чаек, в стаканах заваривали, она нет-нет и принималась плакать.

Я выполнил в те дни несколько ее суетных дел.

В основном ездил в тихо умиравший (но не враждебный демократам) Совет и отвозил-привозил бумаги. Копеечные разрешения на типовых бланках. Я передавал их Виссарионову, от каждой бумаги карлик был в полном восторге. Все это, он считал, были победы!.. Кроме того, я должен был поехать с тем же Виссарионовым, чтобы обследовать как сторонний свидетель новую Вероникину квартиру (в связи с газетенкой?!). Тоже, вероятно, одна из побед. Подумать только, как и чем заканчиваются споры о переустройстве мира.

Печальноглазый карлик подготовил акт, после чего мы выпили по пиву (он поставил!). Он сказал, что ждет комиссию с минуты на минуту: запер дверь, поторопил, и мы мигом, дружно обе бутылки опустошили. Заодно он мне порассказал, с какой Вероничка теперь нравственной пробоиной.

– Как ранение, – пояснял карлик. (Это все о газетенке. Он сочувствовал.) – Как проникающее ранение.

Но на всякий случай я и ему не сказал, где Вероника сейчас. Бумаги передал – и ладно.

– Вы ведь поедете со мной? – спрашивал он. – Как нейтральный. – Мол, комиссии в целом он не доверяет. Нужен нейтрал. Я смеялся: впервые в жизни буду в роли проверяющего. Всю жизнь проверяли меня.

Карлик живо воспринял сказанное как намек (на духовное трудоустройство) – стал звать меня к ним, к демократам, место найдется. Мол, им такие нужны. Мол, я их человек. Смешная сценка. Если бы хоть под водку.

Комиссия пришла, двое из газеты и депутат; все вместе мы решали и решили – едем. Но Вероники дома нет. Вероника в отсутствии. И неизвестно, как ее искать. Ничего – едем к ней домой, не дожидаясь ее. Ключи возьмем в жэке. Еще и солиднее, лучше для проверки, что ее самой в квартире нет...

Все впятером сели в депутатскую машину, поехали, депутат за рулем.

До пива я пил еще и плодовой портвейн (дома), так что оказалось изрядно: от крутого дыхания стекла машины запотевали. Ехали как в молоке. Один из газетчиков (сидел впереди) ловко протирал стекло и умно говорил:

– У кого-то из нас пятерых очень сильное биополе.

Приехали в Вероникину квартирку (двухкомнатную, классический совмещенный санузел) и, как в хорошем, праведном финале фильма, ахнули. Чтобы у начальника, пусть маленького, в квартире за полтора года нашлись только стол, стулья, кушетка да книги! – это удар, это, конечно, произвело. (Я впервые был на ее кв. метрах. Узнал тотчас запах.) Но высматривал и вынюхивал я другое: следы мужского присутствия.

Телефона не было, она мне не солгала. Но кто-то к ней приходил и без звонков. Кой-какие приметы. Квартира всегда расскажет. Мужчина-то был, пахло.

* * *

Обида Веронички скопилась не только из-за того, что на нее возвели поклеп, оскорбили в газете и прочее. (Это – да. Но не только.) Ей прежде и больше всего не нравился свой кабинет, а в кабинете свой собственный звонкий голос, который, как она выразилась, пускал вдруг петуха и фальшивил. И болезненно не соответствовал ее представлениям (о самой себе).

Так что и обида, а лучше сказать досада, была на саму себя, какой она, пусть невольно, оказалась наверху. А ведь это, мол, совсем маленький верх, насест, но даже и на нем оказалось куда сложнее, чем на рисовавшейся ей когда-то главной испытующей развилке: честный – не честный. Плакала. Слова не давались, чтобы ей себя объяснить. Слова не могли (не хотели) ей помочь. А ведь пишущий человек. То-то, подумал я.

Пили чай. Я походил наугад по этажам, стрельнул заварки.

Один стакан лопнул (вдруг трещина) – у Лялиных был, конечно, и чайный сервиз, были и отдельные, на выбор, красивые чашки – был и сам чайник. Замечательный чайник с немецким свистком, трель. Но нам хотелось заваривать и пить чай как раз в стаканах, *как тогда*. Вероничка и вовсе не вставала с постели.

– Не могу, – говорила. – Хочу лежать, лежать, лежать...

Ни слова о том, как мы дальше. Она согласилась и осталась еще на три дня, чтобы совсем прийти в норму. И я ни лишнего слова. Встала утром – и бегом, бегом, стыдливо. Я сделал вид, что сплю. Уходила, и с плеч что-то стряхивает, как бы заразу, общажную нашу пыль, пылицу – я подсмотрел в окно. Я вышел в коридор к окну, чтобы из окна подольше ее видеть. И видел, заспешила – бегом, бегом, села в троллейбус. То-то.

Вероничка оставила свою фотографию; фото удачное, она так считала. В этот раз, прячась у меня четверо суток и мало-помалу приходя в себя, спросила про фото, где же оно? А я признался, не стал придумывать – нет у меня. Да, потерял. Возможно, выбросил. Не ценю я эти глянцево-бумажки. Человек во мне, вот и все. Да и как бы я хранил, где? в старом чемодане с бельем?... Когда-то в спешке, давай-давай, перебирался на новое место и некстати резким движением водрузил пишущую машинку на единственную фотографию мамы. Излом пришелся прямо на мамины глаза, беречь было уже нечего.

* * *

В метро уже за полночь (мой выход, моя подземная прогулка перед сном) я вглядывался в лица припозднившихся женщин, ища среди них с лицами, так сказать, пожалостней, поне-счастней. Подтрунивал над собой, но искал. Нужна, мол, теперь не сама Вероника, пусть петушится дальше, а ее посильная замена – женщина, подходящая и похожая *по обиженности*. По степени обиженности.

Я вглядывался ненавязчиво, просто отмечал. Она?.. Нет. Она?.. Нет.

С лиц мой взгляд переползал на стены вагона. Так я впервые заметил рекламу в метро (там и тут она стала появляться, подстерегая рассеянный взгляд). *Контрацепция. Аборт под наркозом. Все виды услуг.* Призывность и нажим заставляли видеть, узнавать слова, но не вдумываться в саму надпись на подрагивающей стене метровагона. Защита от рэкета... *Все виды охраны... Решетки. Противоугонность...* – мир наполнялся не столько новыми делами, сколько новыми знаками. Гнусны не сами дела – их всплывшие знаки, вот что вне эстетики. Тот же типичный, знаковый андеграунд. (Подполье, шагнувшее наверх.) Возможно, таков окажусь и я, выйди я на свет. Нет уж. Не надо. Нарастающая (и царапающая меня) новизна жизни, вернее,

каждодневное подчинение этой новизны моему «я» сделало меня когда-то пишущим человеком. Но вот прошло двадцать и больше лет, и мое «я» потребовало свободы от повестей и их сюжетов, неужто же само захотело быть и сюжетом и повестью?.. В былые-то времена я бы уже несомненно кинулся к пишущей машинке – вот ведь чудо во спасение! Сиди и тюкай пальцами по буквицам. (Чувство изойдет – зато придет текст.) Подполье, его соответствующая реклама как раз и подлавливают тех, кто вне текстов – одинок или вдруг брошен. Подлавливает замаскированная надежда. И говорит: бери, возьми – вот твоя гиперреальность, вот что такое мир людей в новой и свежо ожившей условности.

Я подсел-таки к плачущей. На пробу. В углу вагона она сидела и несколько киношно (раньше сказали бы «театрально») прижимала платочек к глазам. Я спросил – она испугалась. «Вам плохо?» – «Нет». Она тотчас и решительно отвернулась, оскорбилась. Решила, что я ловец пьяненьких. Но я и точно был в ту минуту ловец, хотя и в житейски высоком смысле. Я не искал женщины в метро, просто как проба. Как проба на предчувствие...

* * *

Я знал, что женщина для меня появится. И притом скоро.

Психологи любят уверять, что образы являются и как бы выпрыгивают к нам из нашего прошлого (к примеру, через сны, из снов – говорят они). Они и правы отчасти.

Конечно, если бы не противовес нашего прошлого (которым мы себя себе объясняем), мы бы попросту не удержали в себе ни одного сильного чувства. Мы бы просто распались. Нас бы разорвало.

Но почему бы не уравновесить прошлое будущим?

Почему бы не считать, что часть чувств (закодированных в образе) надвигается на нас как раз из будущего. Человек уже издалека слышит набегающее время, а сами образы будущего – как проносящиеся отдельные осколки, пули первых выстрелов.

И в этом приеме предчувствий будущего наше прошлое, я думаю, ни при чем. Мы свободны от прошлого. Мы чистый лист. Мы ловцы.

* * *

Каждый раз, когда я видел ее лицо (крупно) на экране, я вспоминал тонкую струйку вина, стекавшую по ее дрожащему, нежно очерченному подбородку. Я тотчас спохватывался и набирал из-под крана воду в бутылку (в чайник), чтобы полить оконные цветы. Тоже струйкой. В этом был наш с Вероникой черезэкранный контакт – наше общение. Наши, если угодно, длящиеся отношения. Стоило ли *тогда* писать изящные верлибры, чтобы теперь делить прилюдно деньги на нужды культуры? – я не задавался столь лобовым вопросом. Могло стать, что с экрана она, в сущности, тоже поливала в горшках чьи-то чужие цветочки.

Я только и узнавал о ней по ТВ. Не знаю даже, писала ли она стихи.

Она отправила два молодых дарования за границу, чтобы посмотрели мир. (Они тут же сбежали туда насовсем.)

Она нашла спонсоров для литературного журнала. (Журнал тем заметнее, увы, хирел.)

И не могла она не чувствовать, сколь временно и скользяще ее положение. Едва демократы, первый призыв, стали слабеть, под Вероничку, под ее скромный насест, уже подкапывались. Как ни мало, как ни крохотно было ее начальническое место, а люди рвались его занять. Люди как люди. Ее уже сталкивали, спихивали (была уязвима; и сама понимала).

* * *

Возможно, поэтому, спохватившись (я так понимаю), она изо всех силенок поспешила делать добрые дела.

В частности, Вероника успела познакомить меня с Двориковым. Как теперь выражались, вывела меня на известного Дворикова – демократ, московский депутат (а не почти депутат, которыми Москва уже кишела). Вдумчивый и прекрасный, по ее словам, человек. Чуткий. Любящий людей. И так далее... Оно так и было: и чуткий и вдумчивый. И людей любящий. Но ко всему этому у Павла Андреевича Дворикова было еще одно качество, которое Вероника не назвала (а может быть, не знала, не разглядела), – он был глуп. Не то чтобы явно дураковат, разумеется, нет. Образован, интеллектуален, даже остроумен, но при всем том, как бы это ловчее выразить, был он *глуповато-восторженно-честен*. Таких тотчас поднимают в верха в наших забубённых коллективах – особенно при капитальных сменах начальства. Они вдруг всех устраивают. Известнейший российский тип времени перемен. Можно чуть иначе и чуть лучше о нем сказать, варьируя и уточняя, что был-де он *честно-глуповато-восторжен*.

Этот Двориков мне и позвонил. Не вечером, не в поздней расслабке, когда с кем ни попадя по телефону можно час по душам, а с утра, ранний был звонок. С самого утра, когда такие люди, как он, минуты считают и берегут. Сам позвонил. Все ли, мол, в порядке?..

– В порядке, – отвечаю.

Беседуем. Жизнь, что ни говори, чудо, чудо и радость! – особенно таким вот солнечным утром. Солнце брызжет в мои окна (в окна Лялиных, в окна Бересцовых, но ведь достается и мне).

Утренняя телефонная беседа с Двориковым тоже в радость и приятна уже сама по себе (хотя он немного комплексует, говоря с агэшником, не без того). Но ведь, как всякий, кто после перемен так легко и так сразу нашел себя в звездной высоте, то бишь в больших начальниках, он не может не чувствовать себя чуточку неловко. (Что говорит о нем хорошо.) Сам Двориков, а не хухры-мухры, товарищ Двориков, господин Двориков всерьез расспрашивает меня о моей судьбе-злодейке – о моих десятилетних непубликациях, о моей общажно-сторожевой жизни и жизни вообще. А жизнь-то меж тем торжествует. Да, говорю, слышу. Слышу жизнь. Слышу ее триумф – мы победили! И солнце в окна, и позавтракал я отменно (продуктами Лялиных), и чай на столе душист, и приятель-депутат вовремя вылез из кустов, чтобы сыграть на рояле.

Ведь как кстати! – я про рояль, оказавшийся не только в кустах, но и рядом с большим дуплистым деревом, с дубом. (Где в дупле, как оказалось, давно уже проживает замшелый подванивающий агэшник.) Я говорю, Павел Андреич, а не выпить ли нам крепкого чего – по-товарищески вместе и с утра? А он, смеясь (у него звонкий молодой смех), отвечает, нет, нет, нет, не выпить, нас жизнь еще не переехала, чтоб пить с утра. Посмотри, мол, какое солнце! какое время сейчас на дворе: какое тысячелетие!.. Он, депутат Двориков, берется к тому же помочь получить мне, бездомному сторожу чужих кв. метров, мою, да, да, мою квартиру, – он с тем мне и звонит, однокомнатную, пустую и близко от метро. Как раз такая.

Квартира – это уже слишком.

У меня квартира. (Звучит как музыка.) Однокомнатная, в ней нет ничего, кроме раскладушки. Но уже есть (уже дали) ключи.

Я туда только и принес что свой старый чайник да коробку с заваркой. Поставил в кухне на подоконнике. Кв. метры девственно пусты и вздрагивали эхом от шагов, от первого звучания голоса.

А сама комната оказалась хороша, светла и потому совсем уж пуста, как начало мира. Но в том и почерк, что так эффектно (так сразу) распахнувшееся для меня пространство жилья, и в особенности большая, с солнцем комната, не показалось мне началом. Не могу объяснить.

Чутье пса. Бомжовый нюх. (Вот когда мне в общежитии предложили посторожить первую богатую квартиру, я поверил: начало.)

Из окна комнаты не был виден ни один перекресток. (Был лишь отдаленный, легкий гул машин.) Обманчивое чувство новизны – вот что я почуял и услышал в звучной гулкости тех стен. Казалось, в рисунке Кандинского наша цензура соскребла сабли, завитки и кружки, оставив лишь водяные знаки их присутствия. Намеки в пустоте мира – тоже абстракт. Но абстракт до той отчужденной степени, что кв. метры лежали холодные, а дареная раскладушка (единственный на них предмет) представилась дряхлой и коротковатой, да и уже занятой чьим-то телом. На раскладушке лежал, храпел (гул машин) невидимый хозяин. Не я. А я только стоял среди голых стен, как перед открытием мира, которое, увы, все-таки задерживается. Возможно, у Вас-Вас. Кандинского на примете всегда была вот эта пустая, выданная случайным чудом квартирка. Комната двадцатых годов. Как заготовка. Видок на будущее: можешь малевать на любой из четырех голых стен – в любую сторону подаренной тебе пустоты. (Рисуй, но не говори себе и другим, что начинаешь заново.)

Депутат Двориков привел сюда же (я и часа не пробыл, чутье!) некоего бездомного человека, чтобы пожить здесь две-три ночи. Пустите его на время, попросил меня. Пустите пожить *потерпевшего*, – и подтолкнул гостя вперед. Тот протянул мне руку.

Я, разумеется, пустил, но я не обманулся – мне достаточно было глянуть глаза в глаза, когда тот вошел и явно нехотя пожал мне руку. Прохвост выдавал себя за страдальца. За опального. И (как все они) за лагерника, из тех редких наших лагерников – из числа, мол, самых последних! Вот он – суровый лицом, вернувшийся наконец-то в родную Москву и ярившийся теперь на всех тех, кто сладко жил при брежневщине. «Одна?..» – это он про комнату, про количество комнат.

Он заметно скилил лицо: он явно ожидал получить. (Он ожидал чего-то достойного его колючей судьбы.) Какую-никакую, но не голую же, как начало мира, маленькую однокомнатную квартиру!

Я тут же стал подначивать: как это жить вместе? а как спать?

– ...Всего-то одна раскладушка. Предупреждаю! В подобных случаях сплю вальсом – я строг, старомоден и предпочитаю обнюхивать чужие ноги, но не чужой рот.

Лагерник завопил, замахал руками – как так вместе? как так вдвоем?!

– Не слушайте, не слушайте его, Сергей Романыч, – заговорил, заспешил Двориков. – Петрович – добряк. Это только ворчанье. Ворчит, корчит из себя буку! Он тоже из потерпевших, непризнанный писатель. Вот-вот станет широко печататься. Все сделаем, чтобы ему помочь. Уверяю вас, он хороший писатель!..

– Все про меня знает, – подмигнул я лагернику. – Жаль, не прочел ни строки.

Я уж увидел, углядел по лицу, что тот не согласится жить вдвоем. Прохвост понимал, что куют железо горячим. В лагере, я думаю, он не был, да и в ссылке едва ли далеко, такие глаза. Выпросил себе документы (из слезного сочувствия). А скорее всего, прикупил – сказал, что в пути потерял, – ему тут же за денежку выдали заново. Мне все хотелось спросить: сколько стоит сегодня новый паспорт? А сколько стоит новехонький и чтоб в нем поставили сибирскую прописку?.. Конечно, он знал роль. Ее уже все умники знали. (Как одежду, примеряли, кто к лицу, кто в талии.) А может, и жертва, они зубастые. Он ведь не сразу осердился: он еще покочевряжился, поломался перед Двориковым – он-де свычен страдать. Он и на морозе спал, в болоте спал, на лесоповале его как-то ночью обоссали, ко всему привычен, – он готов спать в сарае. Он-де и не ждал от мира справедливости.

Но ему и правда некуда было деться. (Ладно. Может, ему нужнее.) Если страдалец ничего себе не найдет попросторнее и с видом на набережную, если оседет в этой однокомнатной, я попросту вернусь в общежитие. Но, может, лагерник сам уйдет?.. Не спеши, сказал я себе.

– ...Да что вы заладили – лагерник! лагерник! – взвился он на меня. – Я был в ссылке!

– Извини, – сказал я, перейдя на «ты», мы с ним ровесники, оба полуседые. (Обоим нужна крыша над головой.)

– Товарищи! Дорогие мои! – утешал, успокаивал нас Двориков. – Господа! Не ссорьтесь. Мы только-только начинаем жизнь – у нас все впереди.

Благодаря Дворикову, его честному лицу, я и уступил. Уступил мои голые кв. метры на недели две-три, пока ссыльному не подыщут чего получше. Возможно, я и уступил потому, что квартирка не показалась мне началом. Я как-то сразу в нее не поверил. Была слишком для меня хороша. Чистая. С окнами в сквер.

Опальный еще и обиделся. На меня и на Дворикова, конечно, – на людей, что ему недодали, на весь мир! Он с сибирских времен уже ни с кем не может жить вдвоем. Ни есть из тарелки. Ни спать ночью...

Я хотел возразить, мол, и в общаге иной раз повидаешь больше, чем в ссылке. (Но не возразил ведь. А меж тем чистая правда.) Как-то по необходимости я спал на кровати вдвоем с маньяком. Зима лютая, пол ледяной, а кровать одна. Неделю я с ним мучился. У него была ночная защитно-агрессивная мания – он-де окружен врагами, и враги подползают к нему непрерывно. Днем был вполне нормален, а едва засыпал, вел бой в окружении. Враги подползали со всех сторон. В течение ночи он душил меня раза три, пока я не дал ему в зубы с такой силой, что еще неделю у меня были разбиты костяшки пальцев. И так тяжело печаталось на машинке.

* * *

Механизм вытеснения оказался прост, можно сказать, простейш: тот ссыльник (опальный) так и не отдал мне мои гулкие кв. метры – мою пустую и однокомнатную.

А как быть: ну, некуда деться стареющему нервному человеку! И какое ж тут сравнение: он был ссыльный, а меня всего лишь *не печатали*. А та новенькая двухкомнатная (с хорошим видом) квартира, которую ему лично пообещал господин Двориков, оказалась тоже занятой (с ходу, по-цыгански, среди ночи!) – оказалась вдруг и уже занятой, заселенной другим опальным человеком (из Сибири, да еще с семьей). Тот также наговорил Дворикову о своей несчастной судьбе, и сердобольный демократ разрешил ему (с сибирской семьей) пожить в квартире те самые две-три недели, что оборачиваются в вечность. Бедный Двориков!.. Как он метался и лез из кожи, как восторженно пытался нам про наше будущее (про наши будущие квартиры) все объяснить, – как он хотел, чтоб нам всем было хорошо. Всем, он настаивал на этом стареньком и опасном слове – всем хорошо! Этого-то и Бог не смог сразу; и вот ведь велит нам ждать, растянул на изрядное время; ждем-с.

– ...Не получается. Но не падайте духом. Не огорчайтесь, – тархтел Двориков мне по телефону, звонил, опять ранним утром.

Я и не думал его винить. (Вот ему бы не падать духом. Забыл ему это сказать.)

Именно так: глуповатость как следствие известного желания стать со всеми хорошим, очень хорошим – мол, пусть-ка и этот, пятый-десятый человек запомнит, какой я был хороший! Вероятно, Двориков был вполне бездарен с точки зрения перемен, наступивших *для и в* России, но ведь он старался. Уже что-то. Уже спасибо.

Это ведь он, Двориков, почти что дал мне квартиру, привел в нее, показал. Раньше не показывали... И опять же он, московский депутат Двориков, а не кто-то еще выручил и помог мне, когда я двинул ухмылявшегося мента-дружинника. (В челюсть. За просто так.) Меня бы там искалечили, а Двориков выручил, не отдал на расправу; сказать проще – вызволил человека из камеры. Не мелочь.

Не мелочь, не пустячно, и благодарен, а все-таки я брошу в него мой мелкий камень. Интеллигентный, добрый, но ведь мудак, извините. (Я тоже мудак. Что никак не меняет картинки.) В том-то и дело, что я *тоже* и что, если один мудак выручает другого, это ни о чем

реальном не говорит и не приносит, увы, нового знания. Бла-ародное вызволение из камеры уже столько лет (десятилетий) дарило Павлу Андреевичу иллюзию бытия, иллюзию окончательного вызволения из камер всех и вся – тень бытия, где и вызволяемые, и их сторожа тоже тени. Этакая теневая реальность, где жизнь драматична, интересна и красива, вот только трава никак не растет. Все свои пятьдесят восемь лет (постарше меня) Павел Андреевич Двориков прожил среди то приближающихся, то убегающих от него туда-сюда теней. Среди замечательных теней и нерастущей травы. Новизна для него закончилась вызволением из камер, а жизнь для него так и не началась. Он ведь не был глуп, он оказался глуп.

В милиции Двориков объяснял про меня долго и эмоционально (напористо). Оправдывал:

– ...Талантливый писатель. Затравленный талантливый писатель. Искалеченная жизнь. Власть топтала его в течение двух брежневских десятилетий. Это стресс! это был стресс!.. Он сожалеет. Он очень теперь сожалеет...

Ни прежде, ни после я не сожалел. Не говоря уже о самой минуте, когда я с таким откровением души (и с такой стремительностью) ударил в челюсть мордатого старшого, что вел спрос. (И сейчас не сожалею. Он упивался властью над моим «я». Он меня унижал своей улыбкой с ямочкой на подбородке. Он улыбался!..)

Все еще острым глазом вижу ту топчущуюся очередь – не слишком большая и медленная, за сахаром. Едва ли не последняя московская очередь, составленная из растерянных старых приживал (жаль, нет такого словца доживал, очередь из доживал – из доживающих свое). Повздоровившие стариканы хотели не столько подраться, сколько на виду у всех побазарить, пошуметь, а если что, под шумок же и разбежаться, ан нет, взяли тепленькими! Взяли. Привели. Изжитое изжито, но не обесцвечено временем. Мы (отлично помню) стояли жалкие и плохо одетые. Двое со слезящимися глазами. Еще двое с нервным тиком, а тот, что передо мной, нет-нет и горько взывал по поводу потерянной вставной челюсти (когда толкались в очереди? или когда нас забирали?) – не мог, увы, припомнить злую минуту, когда он лишился своих зубов, самых дешевых в мире.

– ...Сахарцу захотелось? Ах, мои милые. Сахар – дело полезное, углеводистое, но драться-то зачем? – выговаривал им (нам) старшой, лет тридцати, сидя за столом и вписывая (для штрафа) фамилию за фамилией.

– Ну-ну, смелей. Фамилия?

И первый же из нас правдиво захныкал, подавая знак и модель поведения, как можно более простую. (Лепетал винающиеся слова, почти всхлипы, зажеванные перекошенным ртом старого дяди.) Он не плакал, и в то же время он плакал. Жизнь прошла – жизнь нас переехала, и здоровенные дружинники двадцати – двадцати пяти лет все видели, все о нас знали. Что ж так скверно питаетесь, родные вы наши, – жизнь прожили, а в дом не нажили?.. Сахарцу захотелось! (Мне по деньгам и нужно-то было полкило.)

Один из дружинников ходил взад-вперед и машинально вскидывал милицейскую дубинку на каждый третий свой шаг: зримо воплощал силу. Его подсознательное, как тотчас бы отметил подозрительный фрейдист, воплощало в ту минуту вскидывающийся фаллос. (Такой вот крепкий фаллос. Сводит счеты с отцами, которые когда-то зачали и больше ни на копейку не годны.) Все мы, кто ждал спроса, посмирнели. Мы поняли и без Фрейда. Заслезили глазами. Вот только худой и полуседой (полустарик, да, да, это я) все это время подавлял в себе вспышку гнева. Догадался – дошло, что унижают. И что он вовсе не невропат, а просто-напросто, в отличие от других, у него есть «я», вздувающееся, как громадный пузырь, как нарыв.

Невропат – это когда я уже после буйствовал в камере. И как же сразу интеллигентный, до потных желез пропитанный гуманизмом Двориков меня понял, сопереживал (и так за меня болел!). Это его скрутили и бросили, а не меня – он находился в деревянном низеньком загоне и за железной дверью. Это он ползал ночью среди трех пьяндыг, двух заблеванных и одного

обмочившегося со страха, – он, а не я, нервничал в поисках хотя бы пустой бутылки (оружие нынешнего пролетариата). Но затем вновь пришла моя минута, которую Павел Андреевич Двориков уже не смог бы понять и сопережить. Слабо ему. Святая минута. Ночь, жесткий настил и камера в клетку уже ничего не значили – значила бытийность, которую он, человек теней, уже не ощутит; не дано. Мое «я» совпало с я. Этот я в ту минуту лежал посреди камеры, на боку, навалившись на свою левую руку. Лежал, помалу засыпая – с тем счастливейшим ощущением, когда знаешь, что живешь заново и что повторная твоя жизнь на этот раз бесконечна. Как бы вчера отошли в прошлое мои повести и рассказы. Двадцать с лишним лет я писал тексты, и в двадцать минут засыпания я вновь перерос их, как перерастают детское агу-агу. (Они свое сделали. Я их не похерил. Они во мне. Я просто шагнул дальше.)

* * *

И само собой, Двориков очень хотел опубликовать мои повести, я сказал «нет», тогда он попросил их якобы просто почитать – маленькая хитрость. (Вероничка, как я понял, ему нашептала. Мол, гений, из-за причуд все потеряется и погибнет.) Но текстов и впрямь не было, я так хитрецу и ответил – их нет. Текстов уже нет. Да, возможно, что повести где-то застряли и все еще пылятся. Возможно, в журналах. Возможно, в емких издательских шкафах (на шкафах, тоже возможно). Но не у меня. Двориков удивился. Еще больше он удивился, когда я напрямую сказал, что никаких причуд, я честен, искренен с ним – я не хочу печататься. Уже не надо. Уже поздно. Теперь я уже не хотел быть придатком литературы.

– ...Как?! – он едва не задохнулся. Это разрушало все его представления об андеграунде. Он думал, что андеграунд – это те, кто страдал от коммунистов, а теперь хотят получить свой пряник и стакан с молоком.

– Не хочу, – повторил я, не объясняя, потому что другие слова запутали бы его еще больше.

Но Павел Андреевич Двориков, как бы тоже спохватившись, наскоро почитал в тех и иных толковых книгах (я думаю, прямо на работе, энциклопедию, в приемный депутатский день – потратил святые часы). Почитал, полистал и опять мне позвонил, с тем чтобы сказать, что андеграунд, если даже не социальный, а биологический (мне больше нравится определять его как «экзистенциальный», блеснул он старым словом), все равно реализуем. Андеграунд (даже экзистенциальный) все равно выходит рано или поздно на поверхность. К людям... Вы должны... Вам надо... Он опять затрещал о том, что я изранен несправедливостью и что он меня как никто понимает. Что я отвернулся от мира. Что не оценен. И прочая, прочая. Я устал слушать и повесил трубку.

А с квартирой опять не склеилось: ну, не смешно ли? Только-только Двориков подыскал мне свежую однокомнатную норку в новом доме, как жилищная комиссия вдруг вновь переголосовала ее в пользу некоего страдальца – не меня. (Не исключено, что получив мзду.) Более того: комиссия состряпала и провела так, что вроде как решение самого Дворикова. Он только успевал разводить руками. Зачем они лгут?! – возмущался. Он, кажется, не допускал столь приземленной мысли, что они хапали за его спиной. Хапали, а делали вид, что всего лишь лгали.

– Что ж вы так доверчивы, Павел Андреевич? – спросил я его (чисто риторически).

Не упрекал. Пожалел его. Посочувствовал. На что Двориков, в подхват, опять завел о том, что надо начать с моих публикаций. Людям важно услышать живое слово и живую мысль, зачем вам посмертный реванш? (Так он выразился. Неплохо.) Вы умрете, а ваши запылившиеся повести будут издавать миллионными тиражами! Вас не будет, а вас будут читать в метро и в автобусах! Критики будут о вас не замолкать! Газеты пестреть фотографиями!.. Он так мне расписывал, что подмывало умереть уже завтра.

Его трескучий вздор и сердил-то уже мало. А когда он истово пообещал, что мы (опять мы) покончим-таки с несправедливостью в жилищном вопросе (то бишь добьемся мне однокомнатной), я даже засмеялся:

– Почему бы вам не покончить со злом вообще?

– Как это?

– Как собирались покончить с ним, скажем, большевики. Раз и навсегда.

Тут он всерьез обиделся. Даже засопел в трубку.

Но не смирился. Сказал, что у него теперь новый человек – рьяный деловой зам, вот кто обо мне и моей будущей квартире позаботится. Но я, конечно, должен буду заму регулярно звонить, не стесняться. (Только и делов, оказывается, чтобы дали жилье, набирай телефонный номер и названивай – каково? А ведь господину Дворикову пятьдесят восемь лет!) Господин Двориков даже привел меня туда в один из дней – в кабинет, что напротив. Так сказать, лицом к лицу. Знакомство. И как только я увидел зама, изящного жука, усохшего в собственном кожаном кресле, мне стало ясно и стало весело – и стало сразу легко (уже не ждать!). Я все увидел. Чудо нового вина в старых мехах. Увидел, как этот сухопарый жук вскидывает вперед ножки, поднимаясь из кресла. Увидел, как, опершись, стоит он у массивного стола в своем кабинете.

В секунду прозрев, я почти воочию увидел и то, как именно и как скоро подсядет он господина Дворикова. Человек новый и свежий и с каким уверенным чувством дистанции. И какая занятость собой. Какая там для меня квартира! (Я не стал звонить. Ни разу.)

Дележ благ, тем паче их передележ, как ничто, помогает нажить многочисленных и личных, уже не прощающих врагов, и милейший наш Двориков (но не зам!) их вскорости нажил. Квартиры появились и, конечно же, были вновь разделены, разобраны, расписаны, расхватааны, осталась веселая мелочишка, подкрышные и первые этажи. Однако же и мелочишку тоже выгоднее не дать кому-то (мне, скажем), а продать. Умножать трудно – делить нудно. Уже можно было предвидеть, чем Двориков кончит. Честная его глуповатость превратится в негибкость, а негибкость – в неумелость (в неумение ладить и давать). Его не просто отстранят – изгонят! И ему будет столько же досадно и больно, сколько и неожиданно. Чуть ли не пинком.

Так проходит слава. Ничего не успевший, оболганный со стороны, а еще больше своими же шустрými людишками, он будет оправдываться, как ребенок не старше десяти. Ославят. Обвинят еще и во взятках, после чего господин Двориков оскорбится, утратит свое депутатство и, человечеству ненужный, уйдет в никуда. Финиш. Забьется в социальную щель честнейшего пенсионера. И до конца дней больше не высунется. По вечерам Павел Андреевич Двориков будет смотреть программу «Время», комментируя для жены и страстно ей втолковывая, что правильно для демократии и что нет. Будут жить с женой на две свои пенсии, сводя концы с концами. (Надеюсь, хоть пенсию себе он сообразит сделать не нищенскую. Мудак.)

* * *

Вероника (обиженная за Дворикова, я бросил трубку) позвонила вслед и, едва справившись о здоровье, о жизни (пустые слова), сразу в атаку. Спросила: хорошо ли я все обдумал? – мол, время жить и время всплывать, знаю ли я, слышал ли я об этом?!

Мол, до какой же такой поры надо прозябать человеку (такому, как я) и каменеть в агэшном дерьме?... А я слушал ее голос. Ее гнев. Улавливать обертона – это как при встрече вглядываться в черты лица: волнует! (Прошедшая любовь не обязательно как прокисший супец.) Волновала интонация, звук. И ничуть агэшное каменеющее дерьмо не озаботило меня ответом: какой-никакой образ, каменение, поэтесса... Я слушал голос. Мне было неважно, о чем она говорила, – важно ей.

Но как похоже, как одинаково Веронику (как и Дворикова) мучило от неумения сделать жизнь ни лучше, ни духовнее. Потихонечку, а грызло. (Как оттаявшая зубная боль.) Она

швырнула трубку. У нее толпой посетители: их слишком много! все кланчат деньги, деньги... деньги на великую культуру, а она всего лишь маленькая Вероничка, никто, гном с бантиком, она устала. Но кто и когда при жизни успел получить по заслугам? (Кому воздали? – моя ей реплика. Тут она и бросила трубку.) Меж тем стоп, стоп... за всеми ее то усталыми, то резкими словами означилась заодно и здравая мысль. Они всегда эту мысль подбрасывают по телефону усталым голосом, небрежно, наспех и нечаянно – мысль пристроить и меня, хорошего, в какой-нибудь подкомитет. Нет, не хапать, но служить делу. А поди-ка послужи, милый...

То есть было ее предложение и мое «нет» – вот ведь как и о чем говорили. Даром не дают.

Двориков не сумел, ну так он бедный, прости его. Забудь о нем... А я, в зазор меж отдельными ее словами, видел как раз ту, теневую, двориковскую, первую в моей жизни одноконнатную квартиру. Предложенная мне от чистого сердца и едва не полученная – была пуста. Чистые полы. Окно. И на полу раскладушка, знак качества всякой всячины.

* * *

Их еще нельзя было продать-отдать. Нельзя купить и считать собственными. Но чутьем, нюхом жилья (шаркающими по ним усталыми подошвами) можно было почувствовать, что квадратные метры под ногами вдруг набрякли, налились весом: кв. метры потяжелели.

С третьего этажа и с седьмого двое бессемейных пьяниц уже рискнули и – один, мол, раз живем – каждый свою комнатку продали. Просто за деньги, из рук в руки – так сказать, дозаконно. Точнее даже, что в этом дозаконном случае двое НЕпьяниц рискнули и у них купили. И тотчас присоединили кв. метры к своим квартирам. Это называлось расшириться. А пьяницы из дома, понятно, исчезли. На улицу. Деньги у них быстро вышли, и они бойко рылись в мусорных ящиках днем, а вечерами у метро кланчили милостыню тряской рукой (и битой мордой, *он протягивал встречным не руку, а побитую морду*).

Едва прослышав о собирающихся уехать к родне или по делам (или хоть бы на отдых на две недели, Лялины? Конобеевы?), я меняю рубашку на более чистую, причесываюсь и тотчас, скоренько иду к ним.

Я спрашиваю, я шутилив: «Господа. У вас великолепные кв. метры! Как насчет посторожить?» Они (при том, что преотлично меня знают) колеблются и отвечают вяло, лениво. Слова их тянутся, как резина – да, да, кажется – нет, нет, они не едут, раздумали. Едут, но у них найдется родственник, он, мол, последит. Часто это ложь, отговорка, но не обижаюсь – мало ли у кого что. Меня и так любят больше, чем надо.

КВАДРАТ МАЛЕВИЧА

Сколько лет (десятилетий!) в очередях, а вот ведь не привыкли, и слабо нам, не можем, не в силах мы стоять, дыша в затылок друг другу и тихо перетаптываясь. И не про нас мысль, что в скучные минуты стояния, как вчера, так и сегодня, в нас происходит наиважнейшее в жизни: душа живет.

Разумеется, мы знаем (слышали), что дух дышит, где хочет. (Евангелие.) Или еще круче: духовное в человеке совершается повсюду и везде – либо нигде. (Восточные мотивы.) Нас греет, нам с этим тепло – мы можем рассуждать об этом и даже согласиться с этим, но не жить с этим. Увы. Увы, нам нужна перспектива; приманка, награда, цель, свет в конце туннеля, и по возможности поскорей. В этом, и ни в чем ином, наша жизнь. В этом наша невосточная суть: нам подавай будущее!.. Потому-то *черный квадрат* Малевича – гениален; это стоп; это как раз для нас и наших торопливых душ; это удар и грандиозное торможение.

Я не раз думал об обаянии странного полотна. Черное пятно в раме – вовсе не бархатная и не тихо (тихонько) приоткрытая трезвому глазу беззвездная ночь. Нет там бархата. Нет мрака. Но зато есть тонкие невидимые паутинки-нити. Глянцевые прожилки. (Я бы сказал, *паутина света*, если бы нити на черном хоть чуть реально светились.) И несомненно, что где-то за кадром луна. В отсутствии луны весь эффект. В этом и сила, и страсть ночи, столь выпукло выпирающей к нам из квадратного черного полотна.

Малевич в двадцатые годы стоял однажды в долгой очереди до ощущения полного в ней растворения. Отсутствие будущего во имя приостановившегося настоящего – это и есть очередь, ее идея, это и есть нирвана одной-единственной (можно черной) краски. Малевич, как известно, стоял в самой первой российской очереди (очередь за постным маслом), я стоял – в одной из последних советских (за сахаром). Очередь в обоих случаях была невелика, минут на десять-пятнадцать, чтобы не свихнуться. Зато – историческая переключка высокого смирения. Шажок за шажком, так и быть, стоишь и топчешься, растворенный в людях, ничем не выделен, всеми сокрыт. И, как улитка, самую чуть движешься, шевелишься, не умер. Мое «я» отдыхало. Вот только ссора, помалу в очереди назревавшая, вдруг вспыхнула от меня буквально в двух шагах. Некий мужик в кепке прилип к нашему стоянию, то бишь к нашей очереди со стороны – втиснулся. Его, разумеется, стали немедленно гнать вон. «...Стоял за этим гражданином! Стоял! Стоял! Вот пусть он вам скажет!» – мужик в кепке тыкал почему-то пальцем в меня. А я, весь в себе, молчал.

Молчание и привело к тому, что ко мне стали вдруг обращаться как к нейтрально-честному свидетелю: «Вот пусть он скажет, пусть он подтвердит! Не было тебя в очереди! Не было!..» – «Он что хочешь скажет, потому что *он* тебя боится, понял? А вот я тебя не боюсь! Я тебя щас!..» – и красный суховатый кулак потянулся прямо к физиономии. Но и сама физиономия разъяренного старика была тоже красна, потна, а первый его вопль – как сигнал! Ссора тотчас переросла в толкотню, в некровавую, крикливую драку. И тут как тут, словно ждали (сучали), из-за угла возникла милиция и «замела» разом человек семь, меня в том числе. Старшина, два рослых милиционера, да еще были дружинники – вот тут дружинники и появились, выскочили им в подмогу.

Вероятно, меня не могли не забрать, так как в момент «заметания» люди очереди, не столько дравшиеся, сколько толкавшие и пинавшие друг друга, все еще указывали на меня пальцами: «Не виноват я. Вот *он*, вот *он* пусть скажет!..» – что было даже комично. Не сомневались они, что он (то бишь я, молчальник) расскажет теперь всю правду. В «воронке», в который нас позатолкали, их кретинские крики продолжались.

– Вот он подтвердит, вот увидите!..

Когда выводили из «воронка», оказалось, что милиционеры нами уже не интересуются; менты слиняли. Нас вели те, кому уже смолodu хочется ощутить если не власть, то хоть вкус, привкус власти. Молодые и добровольные – дружинники. Парни с крепкими лицами. «Давай, давай, отребье!» – весело покрикивал один из них (с красной повязкой и с крупным значком на куртке – вероятно, старшой). Он хамил играючи. Но, если обо мне, я все еще был молчалив и ничем не отличим, а очередь, семеро нас, как по инерции меня хранила.

Старшой нас и *обработывал на выход*, то бишь допрашивал. Лет тридцати, не совсем уж юный, мускулистый, мордатый и симпатичный, с приятной силой в грубоватом лице. Ямочка на подбородке. Сама процедура проста – старшой велел очередному из нас, из задержанных, сесть за стол, вертел в руках его документ (если тот имелся) и молча смотрел в глаза. Человек сам начинал плакаться, жаловаться, уверять, что его ждут, волнуются дома. Тут старшой, означив штраф, его отпускал.

Мать его! да ведь и драки-то не было – кто-то кого-то толкнул, задел нос, пустяк, мелочевка, однако старшой (он даже не мент) обладал в мелочную эту минуту властью: возможностью подергать тебя, а то и засадить на час-два за решетку. Привкус власти, и так близко решетка, ведь это почти искушение. Могло последовать что угодно. Небрежное «что угодно», а, напротив, многовариантное, московское «что угодно» – непрогнозируемое и пестрое, как сор, как уличная жизнь.

Спрашивали за три человека от меня – я все еще был не отличим.

Лишь чуть холодело внутри, в желудке, от возможно предстоящего мне унижения. (Как пойдет. Как получится... Унижения могло ведь и не случиться.)

– ...Кто вы? Документы?... Почему оказались в драке?

– Не дрался я.

– Ты не дрался, и он не дрался. А у пострадавшего вся рожа в крови!

– Не бил я. Толкнул его.

– Кто толкнул?..

Здоровенный мордатый дружинник спрашивал одного за другим... Еще не мой черед.

Я вспомнил, как боялась, как безумно боялась попасть в милицию Вероника (хотя реально миляги командировочные, спаивавшие ее, были страшнее, гнуснее ментов). Я усиленно думал о ней. Связывать в одно утрату любви и усилившуюся ранимость – дело очевидное. Это знали всегда. Знал и я. Успокаивал, мол, что мне до Веронички, могу вполне обойтись без. Есть даже и плюсы. Во всяком случае, не прыгает давление. Нет звона в затылке от уха до уха. Нет томления. Не болит правый глаз. Много-много преимуществ. Вероника – это уже просто память. Были ведь и другие.

Отвлекал себя (а сердце знай подстукивало), шаг за шагом, все ближе к спросу – к столу, где этот здоровенный малый.

– ...И вы тоже, конечно, никого не били, никого не ударили? – и улыбается. (До меня оставался еще один человек.) Не выдержать мне этой его ухмылочки. Я подумал, что, если не вмоготу, я пас, я молчу – я просто сдамся: склоню полуседую башку к столу (или уткну себе в колени). Зажму руками виски и молча опущу голову. Да и зачем ему я, годящийся в отцы, худой, с голодными глазами? Слегка посмеются, слегка унижат – только и всего... Пусть потешит себя.

Я как бы внушал (телепатировал) ему, чтобы он оставил меня в покое, когда дойдет мой черед.

– ...Что же, родной, ты так трясешься? Трусца берет? А в очереди вы все небось храбры-ы! – посмеивался мордатый. Спрашиваемый старикан (до меня все еще оставался один человек) кивал и по-собачьи, в лад с жизнью, поддакивал: да, мы такие. Да, трусливые...

– Что с нас взять. Очередь и есть очередь, – удачно закончил старикан вдруг.

Но сидящий за столом старшой (выложил локти на стол, сидел вольготно) сказал ему тоже удачно и с усмешкой:

– Как что взять – а штраф!

Спрашиваемый старикан затрясся осиновым листом. Цены уже подскочили. (Деньги уже ввергали в ужас – в больший ужас, чем он был на деле.)

– Что вы! что вы, вашу мать!..

– Вот тебе и мать! Раз в очереди стоишь, значит, денежки имеешь.

Старшой знал, кого чем достать. Меня он достанет бездомностью: не самой по себе моей вечной общажностью, а тем, что я об общаге умолчу (зачем пылится там, где уже приткнулся?). «Бомжуешь?» – спросит. И я не буду знать, что ответить на нависающий прямой вопрос: а где же, мол, старый пес, ты ночуешь?.. – этим он меня и ущемит. Почувствует нечто. Почувствует, что недосказ. И что есть, есть где-то у меня логово, есть свое и теплое, а в своем и теплом возможен некий навар (а вот и поделись!). Чехов хорошо сказал, что выдавливал из себя по капле раба. Но и хорошо промолчал, чем он при этом заполнял пустоту, образовавшуюся на месте былых капель. Словами? То бишь нерабской своей литературой?.. Это напрашивается. (Пишущие именно этим грешат. Еще и гордятся. Мифотворцы.) Но реально пострабская наша пустота заполняется, увы, как попало. Таков уж обмен: ты из себя выдавливаешь и выдавливаешь, но в твои вакуумные пустоты (послерабские) напирает, набегает со стороны всякое и разное – из набора, которому ты не хозяин. Ты и обнаруживаешь в себе чужое не сразу.

А ведь он за столом был прост – он всего лишь нацелился проверить мою покладистость: законное и почти естественное желание дружинника, который вскоре хочет стать полноценным ментом.

Если спрашиваемый почему-либо не спешил плакаться и ерзать на стуле, старшой сурово хмурился: «Ну?.. В молчанку играть будем?» И тот, в секунду сообразив, чего от него ждут, начинал быстро и вразброс жаловаться. Сначала на жизнь вообще, мол, жизнь херовая, никак не наладится, ну, понервничал в очереди, продуктов нет, жена ждет, отпусти, отпусти домой, друг, отпусти, пожалуйста!..

Пауза.

– Надо же: домой человек хочет. – И старшой, сколько-то в паузу поколебавшись и сколько-то его выматерив, отпускал. Он всего-то и хотел, чтобы человек не выпячивался и на одну чтоб минутку почувствовал себя маленьким червяком. На минуту. Ничего больше. Понятное и такое простое желание. Играем в поддавки?

– Следующий!..

Без пояснений уже все мы знали, что надо плакаться и проситься у старшого на волю, такой спектакль, играем и без шуток. А может, кому из старичков интересно скоротать вечерок за решеткой? (С пьяндыгами, подобранными у метро?) Нас штрафовали на сто рублей, на триста, что по тем временам было не так много. У кого-то отобрали карты с голыми бабами на обороте – глянули, разложив веером. Старшой и бровью не повел.

Следующий теперь был я. Сел напротив. Я был предпоследний. Можно было со мной не спешить.

– Кем работаешь?

– Не работаю, – сказал. Напряженные нервы (предошущение) не дали мне быть прямым. Я не решился сказать: «Сторож...» – не хотел смешков и упреждающего хихиканья, мол, экие нынче все сторожа.

Он вертел в руках мой паспорт. Я прописан у жены и взрослой дочери, то есть у первой жены, где давным-давно не живу. (Ушел из семьи. Укатился. Колобок.) Но прописка была ясная, московская.

– Что это ты оказался так далеко? (Не в своем районе!)

Он всем «тыкал», меня не задевало.

– Случайно.

Я ответил неожиданно коротко, без оправданий. Он так и понял, что без оправданий.

Он молчал. Он глянул вскользь (не в глаза, много чести – в промельк), мол, жду тебя уже достаточно долго. (Жду твоей жалкости. Поддавки или не поддавки?) Но меня трудно заставить что-то сделать, если я не хочу. Он ждал. Молодой дружинник (с ним рядом), гонявший желваки от избытка сил, чуть замер, остановив двигающиеся скулы.

Старшой молчал, а потом появилась эта не нравившаяся мне улыбка; почти ухмылка. Мол, ты не просишься на волю, молчишь – и я молчу. Вот и отлично. Вот так и будем теперь сидеть, а? (Возможно, я преувеличиваю. Моя черта. Но пауза и впрямь росла.)

Он мог, он имел право, с улыбочкой или без, сколь угодно долго ждать моих покаянных слов. Но вот улыбка сошла. (Молодой дружинник, что рядом, опять гонял желваки.) А я... нет, нет, я не прятал глаза. Я определенно смотрел куда-то за спину старшого, на темный простенок, на шинели, висевшие там, – я смотрел на шинели, а видел губы, эти его губы, дышащие изгибом спрятанной (мне могло казаться) улыбки, отчасти уже глумливой, – видел губы и эту ямочку, раздваивающую при улыбке его подбородок.

Старшой не был из тех, кто ни за чем издевается над случайными людьми (я даже о нем подумал: *не из тех*), – но зато он был из тех, кто отлично знает о такой возможности потешить себя и о безнаказанности. И знает, что я знаю и что, деться некуда, весь в его руках. Упоение минутой власти... он как бы пробовал, мол, а вот сейчас и посмотрим.

Я – позже – сумел найти ему оправдание. (Я всегда сумею себя обвинить.) А именно: он, будущий мент, интуитивно как раз и ищет человека затаившегося, всякого, кто так или иначе от власти отодвинулся в прохладный тенек. Он, старшой, сам и лично провоцирует таких (таких, как я) на неподчинение. Его повседневная провокация (проба) вовсе не хамство, а профессия – если угодно, попытка, и удастся она тем легче, что затаившийся человек, как правило, тоже сам и лично пытается себя защитить, не соображаясь с провоцирующей реальностью. Обоюдность лишь кажущаяся. Опасная затея. Но ведь за это старшому и платят. В этом и профилактика. В этом и суть старшого как человека – его функция. (В этом, увы, и его клеймо: такому рослому, симпатичному, во цвете лет и неглупому – быть функцией.)

Помню, в той двух– или трехминутной молчанке я еще подумал: а вот ведь не прав он со своей декоративной улыбкой, ведь нет необходимости. Ведь лично ему совсем не нужно, чтобы человек сам собой подталкивался к униженности. (Я не понимал, что как раз *нужно*, такова функция.) Не нужно бы ему, зачем? – продолжал рассуждать я. – Ведь как замечательно сюда свезли, нас привели чуть не под руки, не били в ухо, не орали, не ерничали, да и оштрафовали тоже вполне пристойно, а вот не толкайтесь в другой раз, миляги, в очереди, не деритесь! Вполне справедливо, вот только не нужно теперь-то пережима, не нужно улыбочек – вот о чем я думал. И ведь спокойно думал. Словно бы взвешивал за и против. Но одновременно я не мог оторваться от вновь появившейся (вслед за улыбкой) чуть подрагивающей ямочки на его подбородке. Как наваждение. Прямо передо мной. Ямочка лучилась светом отраженной лампы. Я даже не уловил секунду, когда я ударил в эту ямочку. Ударил, вдруг сильно выбросив кулак вперед – в подбородок – через пространство узкого стола.

Его голова дернулась. После секунды замешательства дружинники кинулись ко мне справа и слева, выкручивая руки. Я и сам сидел в некотором замешательстве – после удара.

Но с болью (ломали пальцы), хочешь не хочешь, просыпается ярость сопротивления, я отбивался – брыкался, плевался, кричал им: суки, суки! (В конце концов старый агэшник за такую улыбочку имеет право ему вломить!) Они били, валили, выкручивали, но все как-то без толку, пока энергичный малый с милицейской дубинкой (членообразной), подскочив, не прошелся ею по моей спине, в глазах вспыхнуло и померкло. Но сознание я удержал. Они затолкали меня за перегородку в камеру (в полукамеру – стоять там в рост было нельзя) – низкая

темная ниша, где пластом валялись три человека. Я их счел, как только глаза присмотрелись. Пьянь. Или сильно избитые.

Я сидел там на полу (слепой в темноте) и бил в пол кулаком, весь еще в ярости. «Суки!..» – выкрикивал я. Они переругивались. Конечно, хотелось меня как следует проучить. Но старшой, хоть и получил удар в челюсть, собой владел:

– Спокойно. Спокойно, – говорил им он (с прикушенным языком). – Да гывырю же вам: спокойно. Оставьте его *пока*.

У них (у него) был выбор. Могли изобразить меня зачинщиком драки. И могли плюс приклепать статью УК за оказание сопротивления милиции (они в данном случае менты) – спровадить под суд. Однако факт наказания, отдаленный правосудием на месяцы и месяцы, напоминал этим ребятам малопонятную абстрактную картину. Тягомотина. (Суд души не утоляет.) Срок заключения, который мне дадут, плевать, кому он нужен. Срок их тоже не утолит, а вот отбить печень, почки, бить кулаком прямо в сердце, двое держат, третий работает – это уже лучше, уже больмень, не насытит, но хоть вернет им равновесие оперяющейся властной души. Они сами посчитаются. *Оставьте, мол, его пока*.

Но, конечно, без свидетелей – ведь я был предпоследний, какая мелочь, запятая, спасает нас подчас. (Впрочем, тоже очередь). За мной стоял и томился еще один староватый мужичишка, взятый ими в той крикливой толкотне за сахаром.

Возможно, и кто-то из дружинников (слишком молодой? или здесь новый?) был старшому не вполне как очевидец желателен. Кто-то ему пока мешал. Не знаю причины. Ясно было только, что они (он) мною займутся чуть позже.

Последнего они тут же отпустили: швырнули ему его честный паспорт:

– Убирайся. Давай, давай!.. – после чего тот, в радости своей на миг задохнувшийся, закашлявшийся, кинулся бегом к дверям.

Дружинники сгрудились вокруг старшого (трое, с красными повязками, возбужденные), а он, сидя за столом, негромко их теперь учил, как и что дальше.

Двое, совсем молодые, стояли поодаль.

Я видел их всех через решетку. Я знал, что я крепко влип. Может, эти двое юнцов (хотя бы своим присутствием) не дадут меня забить?.. – как-то отвлеченно, как о чужом дяде, рассуждал я. И нет-нет трогал пораненную дверью руку.

Но тут их всех сразу отвлекли, отсрочка, когда вдруг подъехала машина, даже две, судя по шуму. Вошел милиционер в новенькой форме, высок ростом, офицер (из темной ниши отлично видны лейтенантские звездочки), и повелительно сказал: «Всем быстро! Поехали!..» – и добавил что-то (скороговоркой) насчет оружия. Ему ответили. А он раздраженно: «И не тянуть, не тянуть, ребята!» Шум и скрип отодвигаемых стульев, возгласы, подгоняемые командой общие торопливые сборы.

Ушли, куда я денусь, они меня завтра забьют. Они сбегали вниз по лестнице, грохоча сапогами. За лестницей, за последней ступенькой, их сапоги беззвучно проваливались в небытие (в мягкую землю). Ушли все. Остался только один; один из тех молодых. Молодой, круглолицый – я его вполне разглядел.

* * *

Когда бравые дружинники заталкивали меня за решетку, я (по дурости – нет, по страсти) все задевал то той, то этой ногой косяк. Я упирался, разъярившийся старый идиот. Хитроумный Иванушка расставлял руки-ноги, мол, никак не пролезу в печь. Дружинники были посмышленнее Яги, этой же самой дверцей поддали мне, аккордно, по спине и под зад, так что я взвыл и влетел наконец в зарешеченную нишу. И вот что я получил: великолепную темную ночь в клеточку. И квадратное окно – далеко.

В том темном окне плыли лишь две-три серебристые нити. Угадывалась луна. Но ей никак не пробиться в нашу чернильную тьму. Она где-то. Она высоко вышла, взошла, висит над крышей.

Молодой страж-дружинник спит, сидя за столом, выключив настольную лампу. Ну, ладно, ладно: заперли до утра, теперь-то чего – утром сведут счета, жди! – говорил я себе. (Ведь заслужил; ведь что к чему знающий.) Но нет. В том-то и накал, что нет. Я все еще исходил желанием вырваться: вырваться до утренней расправы, сейчас и немедленно.

Ползу. В темноте камеры (доморощенная, вонюченькая бытовка) я полз как можно тише: скорость чуткой улитки. Пьяндыга, который совсем близко, похрапывал. Ползу и, как хищник, уже совпадаю своим дыханием с обертонами его храпа. Еще полшага. Со стороны его лица (со стороны запаха сивухи) подполз – и тихо-тихо ощупываю карманы. Он ни гугу. В кармане бумажки, сор, спички, помятых три коробка, зачем ему столько. Второй карман брюк был под телом, пришлось перевернуть. Пусто. (Я перевел дыхание.) Я поднял глаза: всмотрелся в тот далекий мир, что за решеткой. Охранявший спал. А из окна текли незримые лунные полосы – в мерцающих глянцевых нитях я разглядел, что страж за столом спит лицом в руки.

Столь же тихо я подполз ко второму, этот в блевотине, что как раз обнадежило; из брезгливости его могли не обыскать. Хоть четвертинка пустая (для удара сгодится), хоть бы квартирный ключ подлиннее, и чтоб зажать в руке, как тупой нож. Но сразу попал ладонью в липкое, зар-раза. Пустой. И обысканный. Даже авторучки паршивой не завалилось. Денег – металлическая мелочь. Не в силах вложить вновь в карманы, я вернул ему монеты, наклепив их прямо на заблеванную рубашку, как ордена. Спи, воин. Мы тебя попомним. Третий (последний) пьяндыга был в углу, под самой решеткой. Раздосадованный, я пополз к нему быстрее и вдруг (уже потянувшись к карманам) понял, что он не спит. Он все время меня видел. Он трясся от страха. «У меня денег не-еет. Не-еет...» – еле слышным шепотом выдавил он из себя. Он думал, я ищу деньги. Я не стал ему объяснять, что и зачем ищу. Рукой (все же) потрогал его карманы – пусто. Потрогал еще и нагрудные, пусто. Тут я услышал журчание: он уписался. Маленький поток все журчал, журчал струйкой, в то время как мы оба молчали.

Вырвусь?.. Я встал, сильно согнув шею; тихо-тихо шагнул к решетке – к деревянным крестовинам. Решетка оказалась деревянной, железная только дверца. (Моя пораненная рука опять заныла.) Я стоял, смотрел: страж спал, спрятав в ладони голову. Молодой. Я припоминал – что там вокруг него?.. Стулом драться тяжело. Стул, если шаткий, развалится – тогда бы ножкой стула! Графин?.. Но графин могли унести. Что еще? Яростный человек неудержим, со мной не сладит этот сонный молодой мудака... Что? Что еще было там из предметов? – я напрягал память, вспоминая минуты в предожидании допроса. Стоял там и ведь перетапывался довольно долго – что я там видел?.. ну? – справа очередь задержанных, лежали их документы. Тетрадка, паспортные данные...

– Эй! Шеф! – позвал я.

Еще раз потряс деревянные крестовины:

– Шеф!

Сонный поднял башку, включил настольную лампу... вот! вот оно, оружие! – глаза мои лихорадочно забегали, подыскивая, как попроще ухватить лампу. Схватить лампу, но не выдергивая шнур... короткий шнур, в низко расположенной розетке (может застрять... молодой успеет!).

Он повернул ко мне круглое лицо: мол, в чем дело?

– Помочиться хотел бы. Проведи в туалет.

Он сонно сказал:

– В углу ведро. Ссы сколько хочешь.

– Да и попить хочется. Пересохло все. Шеф!

Уже шел ко мне. Рванувшись напролом, я бы, конечно, сбил его с ног, приоткрой он нашу решетчато-железную дверь, но... но страж был начеку. О двери он и не думал. Он думал о другом – я вовремя отпрянул. Он ткнул кулаком прямо в квадратик двери, метя мне в глаз. Он хмыкнул, не попав. Ни слова не сказав, повернулся, ушел. «Пить хочу, сука! Пи-ить!» – завопил я, но круглолицый даже не оглянулся. Он вырубил свет. Он перешел в соседнюю комнату и плотно придавил дверь, чтоб не слышать, на случай если я буду бесноваться, вопить, кататься по полу – валяй, мужик! Валяй, *старая гнида*, как сказал один из них, когда я, запертый, стал было пинать ногой решетку.

Что еще я мог?.. Ничего. Разве что унять, остановить прыгающее сердце. Я стал всматриваться из моего забытого угла в черноту ночи, как в окололунный свет. (Искал свой черный квадрат. Я уже знал его магию.) Сердце не остановилось, но вот, стиснувшись, оно на чуть тормознулось... еще на чуть... и как свыше – как спасение – рождалось из ничего чувство оставливающих минут. Приспоткнувшаяся жизнь. Не сама жизнь, а ее медлительная проза, ее будничная и великая тишиной бытийность. Вот она. Время перестало дергаться: потекло.

Возможно, в раздрызге первых импульсивных минут за решеткой как раз и отслаивались от моего «я» остатки давнего, уже шелушащегося тщеславия и моих амбициозных потуг. Не дамся, мол, им в руки. (Возможно, и остатки бывшего писательства.) Шелуха, человечья пыль, это она трепыхалась, подыскивая себе и заодно мне текст подостойней – чтоб по возможности и лицо сохранить, и животу уцелеть. Хитрован, сказал я себе. Расслабься. Вот ты. Вот твоё тело. Вот твоё жизнь. Вот твоё «я» – все на местах. Живи... Я с легким сердцем ощутил себя вне своих текстов, как червь вне земли, которой обязан. Ты теперь и есть – текст. Червь, ползающий сразу и вместе со своей почвой. Живи...

Нелепыми представились яростные прыжки из камеры наружу (едва он приоткроет железную дверь), удары настольной лампой по его голове, возня с розеткой, со шнуром, чтобы лампой размахнуться. Надуманное исчезло, как из дурного сна, хуже – из дурного фильма. Я остыл. (Возможно, резко упало давление.) Ни движения рукой. Ни случайной мысли. Как обнаруженный червь, я подергался (только и всего) и пытался уползти, забыв, что почва всегда и везде... Почва везде... Просто почва, земля, проза жизни – обычная человечья клетка с решетчатой дверью и с ненавязчивым ведром для мочи в углу. С обычными, лежащими вразброс в темноте пьяндыгами, которым надо проспаться, прийти в себя. И мне бы поспать. (Да, да, лечь – руку под голову.)

Проза жизни, надо признать, была сладка. Как и обещала, она мимоходом дарила человеку тянущийся и как бы вечный звук, прибаюкивая мне слух мягко-ритмичными колебаниями воздуха. Сказать попроще, то был негромкий храп. Мой. Я спал. Сама бытийность, спеленутая с уговаривающим сладким звуком, покачивала меня. Спал. С расстояния – как эхо – доносился из-за дверей свежий, молодой храп мента-дружинника, охранявшего нас. Он храпел, я вторил. Перекликались...

На миг проснувшись, я разглядел во тьме пьяндыгу, что обмочился со страха и теперь каким-то сложным образом «менял» белье – зябкий несчастный вид человека, пританцовывающего на одной ноге, а другой целящегося в брючину... Тьма, царила великолепная густая тьма. Засыпая, я продолжал чувствовать черный квадрат окна. И луну: ее не было. Но и невидная, она величаво висела в небе, где-то над крышей – высоко над зданием. Высоко...

Часть II

СЛУЧАЙ НА ВТОРОМ КУРСЕ

С какого пустячка началось, *с любви!* – то бишь с всеобщей вокруг него шумихи студентов-сокурсников, с их славословий. Рисунки расхватывали с пылу с жару. Их прикнопляли на стене. Еще и хвастались друг другу, показывая, у кого сколько. Его умение рисовать карандашом, углем, в минуту – в полминуты! – на любом жестком куске бумаги восхищало, как гениальная выходка, как фокус. Веня как чудо. Человек рисующий. То, что в рисунках было (не зрело, а сразу было) мастерство, подлинный авангард, мы тогда вовсе не понимали. Форма. Уголь на белом. Никто не понимал. Но зато все его любили. А он, Веня, еще и поддразнивал. (Не понимали, конечно, и науськанные на Веню следователи, что ж с них, служивых, хотеть?!) Много лет назад, уже тогда мой младший брат Веня мог сидеть за столом напротив следователя и дразнить, выводить из себя настолько, что не ему, а следователю хотелось его ударить в подбородок со смеющейся ямочкой. Дразнил словом, да и всем своим колким обликом. Следователь даже замахнулся. Каждый из следователей на Веню замахивался. Правда, не ударили.

Трижды занимались гебисты Веней в течение того года, недоумевали – студент как студент, открытая улыбка. Лыдисто-голубые глаза. Вот разве что смеялся: мальчишка! И с той особой перчинкой в насмешке, которая тотчас к нему привлекала, ах, какое обаяние, ах, остроумие!.. А кто-то из студентов, несомненно их же курса, продолжал постукивать на Веню, троечник, скромный дурачок. (Запуганный и, вероятно, искренне пытавшийся пересказать, *передать* следователю атмосферу студенчества говорливых тех лет.) Трижды он доносил, а карикатуры оказались на поверку не Венины – были стилизованы под Венины рисунки, калька, только и всего. Талант не уберег автора, но талант и не подставил. И только на третий раз, как в жуткой сказке, улыбчивый Веня своим острым словцом довел наконец следователя не до крика и не до замаха рукой, а до бешенства, уже не яростного – до тихого иезуитского бешенства.

Глаза следователя, зрачковые точки его глаз, накалялись, белели – Веня рассказывал, что другой следователь, коллега, горбившийся над бумагами в той же комнате, и женщина в углу, строчившая на машинке, прислушивались, и оба нет-нет посмеивались про себя, а женщина еще и фыркала в кулак. Так уделывал Веня (мальчишка!) следователя своими ответами, а тот, весь в себе, продолжал его спрашивать.

В студенческой столовке, за гороховым супцом и за бледным компотом тех лет, я (постарше, уже с амбициями) рассуждал вслух:

– Веня. Этот следователь становится опасным.

Рассуждал я, сколько мог, важно – звучало, конечно, глупо:

– Слышишь, Веня... А что, если спровоцировать? А влепи-ка ему пощечину. Именно! Вроде как он тебя оскорбил. Ударь его первый!..

Веня только смеялся:

– Зачем?

Он пересказывал мне допросы. Добирая из стакана компот, весело (и сколько-то провинциально) мы обсуждали его случай, не мышеловку и не ловушку – дурную ямку тех глиняных, липких времен, в которую Веня нечаянно вдруг ступил. Молодые, мы не были испуганы. Мы даже впали в известное горделивое чувство от приобщения к опасной игре с властью. Оба фыркали, мол, КГБ студентом-младшекурсником интересуется, мол, надо же как! А я на высоких тонах все повторял ему свое, мол, не пора ли, Веня, сюжет повернуть? Пусть неделю-две камера, пусть побитая скула и вывихнутое плечо (пусть, Веня!), пусть крики, брань, донос в деканат, исключение, пятнадцать суток, что угодно, но не это затянувшееся липкое расследо-

вание. Эти их допросы, на удивление нешумные, мелкие, глиняные, никакие и в то же время чреватые, не ямка, Веня, а уже яма! Что угодно, но не это нагнетающееся сидение за столом лицом к лицу плюс Венина раз от разу насмешка, ядовитости которой сам Веня, кажется, не понимал. (Зато я понимал – попадало иногда рикошетом и хлестко.)

– Веня, удар – это философия. Удар – это наше все!

Говорилось так по молодости. (Просто с языка шло.) Я тогда и думать не думал, что удар – философия. Я был старший брат: я всего лишь говорил, стараясь ободрить и отвести от Вени беду. Но будущее, конечно, уже набегало. Я как бы знал. Я с счастливой легкостью предощущал пока еще отдаленный человеческий опыт (предощущал и уже примеривался – и, кто знает, накликивал себе самому).

Его опять вызывали. (Затягивали.) Вызывали беленькой бумажкой-повесткой, а то и прямо с лекции. Тоже ведь текучка: день за днем. На пробу следователь устраивал нелепые встречи с людьми, которых Веня мог бы знать или опознать: он, конечно, их не знал. Не знал тогдашней диссидентуры. (Был в стороне, молодой.) Он все смеялся, пересказывая мне подробности допросов: мол, только представь себе, рутина, беседа как беседа, все записывают, не бьют! что за времена!.. Смеялся, но и не знал, как было ему вырваться, выйти или хоть выползти из этих паутинных, уже не сталинских времен – как?

И впрямь, как знать, за пощечину следователю (за угрожающий взмах) Веню выгнали бы из института, пусть бы ненадолго его сослали, посадили: первые добрежневские годы, не лес валить, и отсидел бы! Важно было – прервать... При всей гениальности Веня не понимал, что он не столько в ловушке чьего-то доноса, сколько в ловушке своего собственного чувства превосходства над людьми: в ловушке своего «я». Любя брата, не идеализирую его – Веня был, бывал надменен. (Не по свойству души – по молодости. Вот оправдание.) Как в прошлые века всем известные молодые гении, так же и мой брат не щадил. Язвил, насмехался. А смех, если уж Веня над кем смеялся, делал сидящего напротив ничтожеством, вошью. Снести нельзя. Разумеется, не оправдывает гебистов. Но горько знать, то, что Веня перенес и что он не вынес, было не столько за его гениальные рисунки (и даже не за чьи-то стилизованные карикатуры), а за гордыню. Не море топит – лужа.

Пестуя свой дар и живя особняком, Веня мог проскочить. Рисунки были слишком хороши – нравясь там и тут, он мог стать неспешным утонченным портретистом. Или, что скорее всего, вырос бы подпольный художник-авангардист, и власть бы боялась его трогать *руками*. С ним бы считались. (Ну, запретили бы выставку-другую. Ну, разогнали бы с бульдозером экзальтированно стонущих экспертов и не пустили бы дважды в Италию!) С оглядом и задним числом мы, конечно, упрощаем, и экзистенциальная распутица художника вот уже сводится до развилки, до двух или трех дорог и до якобы твоего личного внятного выбора из них (когда на деле ты топтался в глиняном бездорожье). Но ведь и усложнять нехитро. Увы. Не был это бой, дуэль гения с системой – была перепалка с мелким, самолюбивым следователем-лишкой. День за днем натягиваясь, нагнетаясь, продолжалось их сидение за столом – лицом к лицу, – как подумаешь, как тонка вилась ниточка! Наконец Веня пересолил – бледный, белый от злобы, играя скулами, следователь (не молодой, но и не стар был) вызвал охрану. Просто велел увести. Он не хотел побоев и шума, не хотел так уж сразу. Не хотел, чтобы вслед потянуло жалобным дымком, дымком слухов и жалоб, разговоры, рябь на воде. Не хотел, чтобы избитый Веня под шумок ускользнул – строптивного (и побитого) студента, хочешь не хочешь, могли под акт *списать*, передать в обычную больницу. (А там и другим следователям; ищи его после.)

Он так и сказал Вене:

– Мне неинтересно бить тебе морду. Мне интересно, чтобы ты ходил и ронял говно.

Он знал, что говорил. Следователи частенько блефуют, но этот знал. У него и точно имелся выбор будущего (для подследственного) – в пределах его личного решения в будущее уходили, ветвясь, накатанные дорожки, три или четыре, одна из них, кривая, как раз к белым

халатам. (К лечению от инакомыслия – к полноправному вторжению врачей в твоё «я».) Следователь знал, что написать и что дописать; а также что и где вполбуквы добавить. Он уготовил Вене путь, который запомнил от старших. Так что удивительного (то есть неожиданного) в процессе принудительного лечения в том случае не было. В один из ожидаемых врачами моментов их больной (Веня) не смог справиться с химией в крови и с её нацеленной интервенцией в мозг. Мозг Вени не отключался – он лишь включался невпопад, не управлял, не значил, отчего четыре недели кряду кал из больного (из моего брата) извергался неожиданно и самопроизвольно. Так и было. Целый месяц. Дорожка привела. Следователь знал, что обещал.

Ему стало интересно. Человек, если задеть, любопытен. Но, скорее всего, и тут причина могла быть не в мстительном интересе, а в том, что дослеживание Вени входило в его обязанности; работа. Так или иначе следователь посетил Веню в больнице. Зашел в его палату, в белом халате. Хорошо выбритый, негромкий. Сидел возле Вени. Спросил:

– Ну, как дела?... Роняешь говно?

Подавленный препаратами Веня уже не был ни остроумным, ни дерзким (второй месяц; симптом – пыль в мозгах).

– ...Ну? что ты *здесь* мне скажешь?

Сквозь толщу «пыли», забившей сознание, Веня с усилием думал – Веня поворачивал тяжелым языком, ответил:

– Здесь тоже. Здесь жизнь.

Я – когда тем же вечером, в часы посещения, но попозже, сидел с Веней рядом – спросил:

– А он что?... Ухмыльнулся, довольный?

Веня сказал – нет, следователь согласился, да, мол, здесь тоже жизнь: живи.

* * *

Врач, фигура интеллигентная, входил, возможно, в моду, а шприц так удобно заменял слишком созвучные в нашем прошлом (слишком шумные) выстрел в затылок и лесоповал. За допросное время Веню лишь однажды побили – в машине. Разбили ему лицо, сломали два зуба, все в кровь, непрофессионально. Они его всего лишь сопровождали, в машине тесно, а все они, включая Веню, были в пальто, зима. Он быстро довёл их, он их достал. Он мог достать кого угодно и с какими угодно кулаками, дело не в молодой отваге – просто надменное львиное сердце. Веня издевался над их плохонькой одеждой, мол, зима, и что ж вас, сук, не ценят, ай-ай-ай. Или, мол, еще не заслужили, троечники? не с чужого ли плеча одежонка?... Один из них ударил его по яйцам, ребром ладони. Больно, должно быть. Но тогда и Веня (все еще смеясь – а он реагировал тоже тотчас) плюнул нападавшему в лицо.

– Тогда они потеряли интерес к яйцам и взялись за мое лицо, – рассказывал он и пробовал насвистывать, без двух зубов с левой стороны.

Бездвухзубый, Веня и был привезен. Сопровождавшие, едва из машины, торопили, толчками подгоняли к дверям, где следователь, а Веня, так ценивший прикосновение (и не терпевший прикосновений чужих), выкрикивал им:

– Я сам. Я сам!..

* * *

А кое-кто из студентов уже усваивал поползший, пущенный слухок: предполагали (с оговорками, но ведь предполагали), что нет дыма без огня и что Веня теперь уже сам зачастил на доверительные беседы – такой блестящий и ведь талантливый!

Потому и приболел, потому, мол, и свихнулся парень, что на допросах уже пил чаек и мало-помалу стал разговорчив со следователем, наследил. Когда пустят слух, человек бесси-

лен, это известно. Перемигивались и рассуждали, шуршали в ельнике, не пойманные на слове. Люди неблагодарны, это ведь тоже известно. Еще и свиньи. Тем более молодые. Тем более если любили.

Ведь не настаивают – они лишь предполагают. Извини, говорят. Нечаянно, мол, подхватил (и переповторил) слух. Ну, извини – ошибка, ошибка! Они не настаивают, чего же еще?.. Сейчас уже внуков имеют. Пенсию ждут. И когда Веня давным-давно живет в своем тихом безумии, его былой студент-сокурсник, сам уже седоголовый и с внуками, ничего о тех днях не вспомнит и вслух не выскажет – кроме общеизвестного негодования! О том, что сам тогда повторял слушок о Вене, он уж точно не вспомнит. Свои промашки пятку не трут, с аккуратностью мы себя подправляем в нашем прошлом.

– Какие, – в конце разговора вдруг вздохнет, – счастливые времена были! – Это о студенчестве. Да ведь как возразить и что сказать – и точно, наши лучшие, наши молодые были годы!

Именно колкая насмешливость Вени, его открытость и особого кроя сердце заставляли, я убежден, окружающих почему-то ревновать. Молодые особенно ревнивы (втайне) к таким, как Веня. Жизнь, мол, извилиста, прихотлива, и быть может, именно в том ее правда, что этот неожиданный Веня, талантливый, дерзкий, а как раз и стучал?.. Им хотелось в это поверить. Люди таковы, чего уж там. (Хоть на минуту, хоть и не веря, а предположить приятно.) Были среди них, разумеется, и обиженные Веней. И ах как понятно, что началось-то с всеобщей к нему любви.

Веня, запертый в психушке, так и не узнал, что на нем какое-то время (немалое) висел ком грязи. Скорее всего, лепил следователь. Возможно, попросту хотел прикрыть студента-осведомителя, пришибленного покорного троечника (Венино словцо, хотя, разумеется, стучащий мог быть кем угодно; и отличником тоже). Всего-то и хотел следователь – сохранить для себя и для ведомства нужного человечка, с тем чтобы время от времени выдернуть, вызвать его после лекций и потолковать, пошептать о том о сем.

Но, возможно, и тут потрудились самолюбие. То есть и тут счеты. То есть не троечника следователь прикрывал, а сам хотел. Пустив про Веню слушок, он сам хотел себе в угоду совсем уж растереть в пыль, в ничто студента с дерзким языком и немигающим насмешливым взглядом.

* * *

– ...Перестал, Веня, чувствовать тебя рядом. Ты один. Ты отдалился. – А он ничуть не в сердцах и не сгоряча, младший, в том и укол, что не сгоряча, он ответил мне – младший старшему: «Ну-ну. Перестань. Стань со мной вровень, вот мы и будем рядом», – и засвистал. После чего я оскорбился, долго не приходил к нему и даже не звонил, а Веня уже сбрасывал назначенные ему таблетки в унитаз, сыпал полную пригоршню, был болен, но не хотел в это верить.

Мания преследования – вот как вдруг обернулось. А было Вене только-только тридцать. На углу дома он мне показал мужика, явно ханыгу, и сказал, что тот со спины похож на врача, я, глупец, переспросил: «На врача?» – «Ну да. На переодетого врача». А я оглянулся и рассмеялся: мужик как раз подошел к урне и стал оттуда выуживать пустые бутылки.

– Неужели на врача? – я засмеялся.

Ханыга складывал в авоську, в сетку, три штуки, удачливый, но в авоське дыра – одна из бутылок упала, покатилась. Ее звук нас с Веней нагнал (звук скачущей по асфальту, но не колющейся водочной бутылки).

Я опять оглянулся – видел, как он уходил, счастливый лицом мужик, ничуть не похожий на врача, зато с любого ракурса (и со спины тоже) похожий на пуганого побирешку.

* * *

У кого-то из известных физиков (из тех, кто учился в одно время с Веней) остался в квартире четкий настенный след – Бенин рисунок. Так говорят. Кто-то видел. Кто-то кому-то сказал. Углем. Портрет человека с черной бородой и в очках... Но точно так же, возможно, где-то висят другие его рисунки, окантованные или просто приклепленные. (Ждут, дорожая год от года.) Нынче даже наброски ценны.

– ...Следы, – говорит мне Василек Пятов. – Эти следы надо бы хорошенько поискать на московских, на питерских стенах.

Василек настаивает: эксперт Уманский (великий, великий эксперт!), к которому стекались неопознанные рисунки 60-х и 70-х годов, – лучший из тех, кто сегодня способствует художникам, отвоевывая их у забвения. В прошлом году, как известно, его подмосковную дачку с картинами подожгли, но и после пожара эксперт не остыл (Василек острит), эксперт горяч и воюет за правду. Тем более что Уманский из тех, кто живьем видел когда-то рисунки Вени. Вопрос очной ставки. И вопрос квалификации. Так что, попадись найденные рисунки на глазок Уманскому, он мог бы реально и звонко извлечь их из небытия. (А с ними и Веню.) Василек сообщает о величине гонорара, который берет Уманский. Я развожу руками – тоже ведь звонко, откуда мне взять?!

– Ну, почему? почему вы не сохранили хотя бы несколько рисунков Венедикта Петровича?! – восклицает Василек.

Что, конечно, меня стыдит, но не слишком. Я ведь и своего не умел сохранить.

Но Василек прав в другом: энергетика молвы велика! Прошли десятилетия, и вот уже Венья (вернее, его образ) возник вдруг из ничего, как из воздуха. Молодые художники, едва прослышав, заговорили, зашумели и даже возвеличили Веню, так что только рисунков его пока и не хватало (самую чуть!) до полноценной легенды.

И вот ведь уже интерес! – тот же Василек Пятов и пьяноватые художники его круга, встречая меня, не забывают спросить, участливый голос, уважительность: мол, что там в больнице Венедикт Петрович? как разговаривает? как он выглядит?... Для них седой стареющий Венья опять художник и опять жив, живой Венедикт Петрович, – им важно! А я, конечно, в пересказах достаточно осторожен, такт знаю, меру, не любят долго о расслабленных гениях, читать любят, слушать – нет.

Василек Пятов грозно вопрошает (то ли у меня, то ли у вечности):

– А Зверев?... Помните, что говорил Зверев?!

Как не помнить: талантливый и сильно пьющий Зверев бывал неискренен, когда его спрашивали, кому он как художник обязан. А никому! Он самородок, и точка. Разве что женщины, да и то как необязательный круг поддержки. Но именно о Вене, в присутствии Уманского, неохотно и подчеркнуто кратко (и уже взволнованно целясь на выпивку) Зверев словно бы приоткрывал погребенную тайну преемственности:

– ...Вот разве что Венедикт. Он – единственный, у кого я получился.

Речь, скорее всего, шла (если шла вообще) о молниеносной манере писать портрет углем, тушью, карандашом или простым пером. Перехваченный Зверевым у Вени импульс – рисовать портреты чем угодно и на чем угодно.

Вдруг возникшая мода на забытое (на непризнанных) может вдруг и обвалом сойти на нет, а Уманский помнит. Мода вспыхнет заново и уже тихо, по второму разу сойдет, а Уманский все равно помнит, и, пока он жив, Венины рисунки живы и все еще висят, приклепленные, где-то на стенах. Великий Уманский – стар, дряхл, подслеповат, болтлив, соучастник событий и соавтор легенд, мифотворец, вдохновленный враль – все что угодно, но зато он помнит.

Он помнит, а они (сокурсники) – нет. Старенький эксперт Уманский помнит Венино лицо, походку, руки, а те, кто учился, ходил с ним в кино, ел,пил, сидел с Веней на лекциях бок о бок, – нет. Для них, бывших студентов, Венины рисунки и портреты – ничто, давнее пятнышко в памяти. Случай на втором курсе. Веня (А-аа, Венедикт! вот вы о ком!..) мелькнул и нет – на третьем, на четвертом и на пятом курсах его уже с ними не было. Сессия: переносились и досдавались экзамены. Колхоз летом; а смешные первые влюбленности? – вдохновенное молодое время, а вовсе не случайная пестрота памяти и не рябь в глазах! Походы на май. Байдарки. Костры. Что там еще?.. Да, припоминаю: был такой Венедикт. На втором курсе... Учился с нами. Да, кажется, рисовал.

С кем-то из них (уже седые) мы столкнулись у входа в метро, о том о сем говорили.

Поразительно: меня он помнил (я дольше был в стенах), а Веню, своего сокурсника, нет. Полтора года вместе, неполный второй курс. Венедикт – твой брат? Разве?

– Понимаю, понимаю! Редко встречал его на этаже. Венедикт, наверное, из тех, кто жил выше, – сказал бывший студент. (Стареющий. Седой. Глаза красные.)

А я, пусть с запозданием, порадовался тому, как язык сам все объяснил и расставил – да, говорю, он жил выше.

– Двумя этажами выше, так?

– Может быть, пятью.

– Ты что! Разве там наши жили?!

* * *

Я и вообразить не мог, что существует столько молодых судеб, которые застряли в моей памяти, не содержа в себе по сути никакого драматизма. Кто-то трижды сдавал несчастный зачет. И кого-то вдруг выгнали. Кто кого любил. Кто кого бросил. Даже один утонувший (помню имя) не содержал в себе драмы. Поездки в колхоз на уборку, ночные костры, влюбленности, лекции, экзамены, а с ними и мы сами принадлежали времени да и составляли время – а Веня был поодаль. Для меня брат тоже был случаем, и я не способен сейчас биться задним числом с целой культурой (наслоившейся культурой тех дней), не могу ее ни отменить, ни зачеркнуть.

Я могу разве что поморщиться, скривить рот, думая о молодом том времени и счастье. Но запоздалая кривость рта, этот ее узнаваемый изгиб тем более дают мне увидеть, как сильно я тогда принадлежал. Молодые – мы принадлежали. А где и с кем был тогда Веня?..

Это сейчас он стал частицей того же самого времени, его определяющей приметой, сопровождением, знаком, который задним числом пробуждает в нас новейшее (хотя и вовсе не новое) сострадание. Веня-человек нам меньше интересен, а вот Веня-знак, Веня-память пробуждает в нас эту повышенную способность сострадать, любить – любить, а также не давать калечить друг друга, а также помнить, что мы люди и зачем мы на земле, и все прочее, прочее. Тем самым Венедикт, Веня, только сейчас вернулся (приложился) к тому времени. А где он был тогда, в те дни?

Это спрашиваю, вопрошаю, удивляюсь и озадачиваюсь я – брат. Родной и старший его брат, бывший рядом. Чего же в таком случае хотеть от других – чего я хотел или хочу от его сокурсника, от седого мужика, который Веню забыл?.. А я ничего и не хочу.

* * *

Женщина (в той моей давней притче), навалившись на подоконник полуоткрытой грудью, посмеивалась и курила сигарету. Этаж – третий.

Затем старший брат перебрался к более яркой (рыжей) женщине на пятый этаж, а затем опять и опять к новой женщине – на седьмой, восьмой. Что он искал в коридорах и на этажах, для рассказа-притчи было неважным. (Зато сам подъем все выше давал ощутить ход времени.) Весел и энергичен, вот что важно, вошел однажды в эти коридоры старший брат, поспешил там за женщиной, потом за другой, за пятой и в конце концов пропал. То ли упал, то ли с самого верхнего этажа его выбросили из окна местные ревнивые мужики. (Высоко зашел.) Погиб – когда младший, мужая, только-только вошел на первый этаж.

В реальной жизни первым вошел Веня, а уж следом вошел я – старший. В реальной жизни именно Веня был в молодости весел, отважен.

Но, скорее всего, в той притче и не было двух братьев – и не невольное отражение нас с Веней, а выявилась обычная человеческая (не подозреваемая мной вполне) возрастная многошаговость. То есть я был и старшим братом, который погиб; был и младшим, который начинал снова.

А когда младшего не станет (младшего тоже выбросят с достаточно высокого этажа), я, вероятно, и тут не исчезну, не погибну и вновь войду в здание общаги – и стану младшим уже младшего брата. Жизнь – за жизнь, отслаивая кожу за кожей.

БРАТЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ

Лет десять назад молодой художник Василек Пятов был действительно молодым – с круглым крестьянским лицом и с бойкой кистью в руках.

Как все провинциалы, он боялся слыть жмотом. Зато его отец, напористый бездельник пятидесяти лет, чужого мнения не боялся, можно сказать, презирал, – тем охотнее он тянул из Василька деньги и чуть что шумел всем вокруг, мол, вот ведь времена! отцу родному сын не выложил лишней копейки!.. Василек Пятов выложил, и не один раз. Василек давал безотказно, я свидетель. Однако зарабатывал картинами он совсем мало. (Какой-то меценатишка из Канады, сам хилый, тощий, со съеденными передними зубами, появился у Василька в мастерской, походил с мышинным взглядом, купил и исчез лет на пять.) А отец все донимал Василька – прислал вдруг письмо с длинным зимним перечнем: пальто, шапка, шарф, *пара перчаток*, не написал же проходимец *перчатки*. Я, помнится, даже перечитал его письмо, где ощущался крепкий плотский привкус слова и стиль, изящный стилек ничем не ограниченного самодовольства.

И с немалой выдумкой, конечно: однажды отец Василька отправился налегке теплоходом и в каждом городе (вдоль довольно большой реки Волги) бросал сыну открытку, мол, помощи, Василек, деньгами – в пути, мол, приболел, срочно госпитализирован. Именно что город за городом... Вдоль большой реки... Василек ему посылал тотчас. А через день-два, утром, следующая блеклая открытка: *срочно госпитализирован Куйбышеве... Срочно госпитализирован Ульяновске... Саратове... Волгограде, далее везде*, шутил я, пытаюсь объяснить Васильку, что за милый человек его папаша. Но в те дни Василек Пятов еще не умел над собой (и, значит, над людьми) посмеиваться. Догадывался, что его обманывают, однако жалость и кровное родство каждый раз брали верх: Василек наново бежал занять денег у приятеля или продавал за бесценок холст. Или просто лежал, уткнувшись в подушку, и всхлипывал, как девица, – парень двадцати лет, широкоплечий, сильный, играючи пивший водку, но с сердчишком из воска.

Всхлипывал, как девица. А девица, не помню ее имя (натурщица, бедовая, с красивыми ногами), сидела себе возле газовой плиты, разжаривая на сковородке себе и Васильку высохшие корки хлеба (размягчая их). Прихлебывала бледный чаек и не унывала.

Мы – я и Вик Викыч (в ту пору уже безалаберные начинающие писатели) – пришли занять у Василька денег. Пришли одолжить, а в итоге, расчувствовавшись его рассказами об отце, сами же купили Васильку хлеба, плавленых сырков «Дружба» и утешали, мол, не все в жизни так плохо. Пили чай вместе. Девица хихикала.

И как раз тут звонок, и в дверях возник отец Василька, уже вполне выздоровевший после речного плавания. Он нагрянул к сыну улыбающийся, загорелый, довольный собой, спокойный и с авоськой, в которой светилась бутылка минеральной воды. Нас с Викычем он быстро выставил, нажимая на родственность – чужим людям отца с сыном не понять! Он даже не был пьяницей, просто бездельник. Выпивал, но очень любил и закусить, поговорить о политике, об автомобилях Брежнева, в общем, человек широкий и никакой. Просто упырь. Пил у сына кровь, ездил туда-сюда и редко-редко где-нибудь работал. Мы ушли. (Я и Вик Викыч.) Думаю, он и нас, нищих, мог обобрать – у него был необычайный дар вымогательства: он подавлял.

Как позже выяснилось, он почти тут же принудил Василька продать самый яркий его холст – сам снес холст на рынок, где по дешевке и загнал его среди моря халтуры. Следом (все тут же) он сдал на детали испортившийся телевизор Василька, мол, ты, сын, купишь себе новый – зачем в наш век латать-чинить?.. Вечером он устроил ужин, хорошо покушали, бедовая натурщица была в восторге и загуляла с папашей, нет-нет и уединяясь с ним у некой художницы по соседству (в пустоовавшей ее мастерской).

Вслух, с причмоком расхваливала натурщица страстность отца и гусарские его манеры: «Восторг!.. Сплошной восторг!» – восклицала она, потягивая кофеек, смеялась, хихикала, вскрикивала: О-о! – и поскучнела только на третий день, обнаружив отсутствие золотого кольца. (Тихо снял с пальца? Или прибрал на полочке в ванной?..) Нет, папаша не стал отпираться – отец Василька не был воришкой: просто и прямо он объяснил молодой женщине, что за сыновний холст дали на рынке возмутительно мало и что надо же нам было гулять на какие-то деньги эти чудные два дня, зато какой восторг, ты же сама кричала!.. Бедовая натурщица возмутилась, колечко недешевое, мол, надо еще *посчитаться* и как-никак уяснить итог с учетом кольца... папаша был согласен, пошел в угловой гастроном за минеральной водой (очень любил минералку после еды) и исчез.

Через месяц Василек Пятов позвонил Викычу в страшном горе: отец умер, и нужна срочно немалая сумма, так как умер отец в далеком городе, хоронят чужие люди.

Сам Василек туда уже не успевал: два дня пути. Вик Викыч половину суммы ему наскреб. Принес. Василек стонал и убивался еще и потому, что как раз накануне отец, прося денег, прислал ему привычное письмо из далекой больницы, а Василек Пятов ответить ему не поспешил. «Первый раз в жизни не поверил отцу, – каялся Василек, – и вот наказан. Отец умирал, а я... а я...» – и Василек Пятов, хороший сын, утыкался головой в подушку, стискивая виски руками.

Натурщицей у него была все та же бедовая девица, длинная, худая, много курившая и ублажавшая нас только при некоторой нашей настойчивости. Викыч и я, мы потолковали с ней на кухне. (Рыдания Василька не помешали нам пить чай.) Натурщица с подхихикиванием сказала зло, что папаша Пятов наверняка жив-здоров и хочет денег, пятидесятилетняя пиявка попросту решила напиться крови как следует. Папашка жив, жив, а Василек Пятов, дурной, отдает теперь мастерскую какому-то богатенькому мазилке и сам съезжает *на хер* в неизвестность. А ведь с таким трудом и с таким соленым потом ее добыл!.. («Ее – это *не меня*, а мастерскую», – уточняла она.)

Об отце Василька, что он жив, мы с Вик Викычем предполагали и сами, но утрата мастерской (в которой и нам перепадало тепла и чаю, кусок хлеба, а иной раз и вот этой бедовой девицы) нас расстроила. Мы взялись за Василька всерьез, напомнив ему о многоразовых предсмертных корчах его папаши, убеждали – но все напрасно. Он только плакал. Был уже невменяем. (Был хороший сын, что поделать.) На другой же день, отослав на похороны в далекий город по адресу деньги, Василек съехал куда-то в каморку, он даже краски, кисти продал, оставив лишь две колонковые кисточки, дорогие руке и душе. Проданы были и холсты. Была свезена и какая-никакая мебель. Полный разгром.

Два последних дня мы с Викычем и с девицей жили (доживали) в опустевшей мастерской. Мебели совсем ничего: какие-то тумбочки, которые никто не брал. Одна кровать. Я и Викыч спали в разных углах огромного помещения на газетах, на старых пальто. На третий день и натурщица поутру ушла, выставив на стол бутылку портвейна и, широкая душа, ублажив нас напоследок. Но интимно, тихо, никакого цинизма. (То есть сначала меня, пока Викыч с утра чистил зубы; после в некотором от них отдалении почистил зубы я.) Натурщица исчезла. Тишина. Появились толпы мышей, даже днем сучьи мыши скреблись, бегая одна за одной по плинтусам. Я и Викыч жили в ожидании, когда нас сгонит с места новый хозяин этой мастерской. (В конце концов, пока мы здесь, у него не будет пожара и бомжи не растащат сантехнику.) Здесь был телефон. Был душ. (Не равнять же с *казанской* толкотней на вокзале.)

Вечером я сидел на кухне, читал, грыз сухарь и думал: с кем это там Вик Викыч разговаривает – в гулкой пустоте мастерской? Я уже решил, что сам с собой. Бывает... Но нет, нет!.. Это пришел, приехал отец Василька Пятова. Да-а, он болел, он всерьез болел, но, представьте, выздоровел! Выздоровел, хотя и был, ей-ей, при смерти – да, да, хотели уже хоронить. Потому и телеграмму Васильку отбили. А как же!

Викыч провел его ко мне на оголенную, голую кухню, и тут мы оба, даже не перемигнувшись, вдруг сказали отцу, что Василек умер. Да... Он умер... Так случилось. Мы сказали, что Василек Пятов послал далеким людям на похороны отца крупную сумму денег, но сам был так расстроен, что попал под машину и погиб. Я сказал просто: «умер», но Викыч (словно накликывая на себя будущее, ах, наш язык как устроен! как далеко заводит речь) тут же, для пущего правдоподобия, уточнил-скорректировал смерть Василька пронесшимся по шоссе шальным грузовиком, наезжают, мол, машины на людей, особенно если люди подавлены горем.

– Он ведь вас любил, – заключил Викыч.

– Знаю.

Отец уронил скупую мужскую и, пройдясь, провел увлажнившимся взглядом по пустым углам мастерской – никакое, нулевое наследство! Да, он погрузился. (Опечалился.) Но ведь он так и не спросил, где Василек похоронен. Ушел. Он просто ушел.

Не спросил, где похоронен его сын... Может, он потрясен (забыл спросить) и сейчас, спохватившись, вернется?.. Мы прождали часа два с половиной, не меньше; это и есть жизнь. Дольше – не ждут. (Два с половиной часа прощанья: обоюдного взаимного их прощанья. Каждый думает, что другой умер. Обоих нет.)

Зато мы спасли Василька от бесконечных поборов. Спасли художника.

Жестоко. Но уж так получилось.

Однажды, потрепанные долгим временем и уже едва узнаваемые друг для друга, они столкнутся лицом к лицу на московской улице. Стоп!.. Или в метро отец и сын вдруг окажутся рядом... На одном сиденье... То-то радости! Но нет, они не столкнутся. Разве что лет через десять. Отец только и наезжал в столицу сына ради (его денег ради). Жил он где хотел, вольная, ленивая, веселая птица. Надо признать, он умел поговорить. Умел хорошо рассказать.

* * *

В те дни мне предложили сторожить склад в дальнем Подмоскowie. Тишь. Безлюдье. Знаковый момент! – мне повезло увидеть и дано было ощутить, как широко (напоследок) может распахнуться пространство.

– Склад?.. – Я был согласен на что угодно. Я редко ел. Уже месяц, как я потерял чудесную работу в НИИ, где по ночам стерег опустевшие темные этажи (на пару с Ильичем, нарицательным в полный рост). НИИ сторожить – мед кушать. Но сторожение отдали Ларисе, я не взревновал, женщина с ребенком, копейка в дом.

На склад (вдруг продуктовый?) я отправился тотчас, с первой же электричкой. Шутка ли, получить работу складского сторожа. (По подсказке, конечно; по звонку одного доброхота.) Я сошел на маленькой станции. Ни души на платформе. Вот оно.

Склад оказался огромным сараем, что рядом с лесом, из которого выскакивала ветка забытой узкоколейки. Какой-то один паровозик метался по этим рельсам, как в плену, туда-сюда, похожий на чумающую детскую игрушку. Экая глушь! Начальник склада бегло меня оглядел и остался доволен: вписал куда-то фамилию, только и спросив, не мочусь ли я в пьяном виде в постель. (Вероятно, как мои предшественники, травмированные немереным пространством и свободным временем.) Он кликнул старого служаку в древних выцветших брюках-галифе, а уже тот повел меня в мою будущую каморку, что у самого входа в склад-сарай.

По пути (шли по складу) служака ловко высматривал и еще более ловко выхватывал с длинных полок все, что, как он выразился, мне *посчастливилось*. Мне посчастливилось масляный обогреватель. Я его еле нес, оттягивая до земли теперь и левую руку (в правой машинка). Служака выхватил с полки одно за одним простыню, наволочку и одеяло, все вместе кинул мне, словно у меня еще и третья рука (я успел прижать к груди). Несколько неожиданно мне было выдано клистирное приспособление – резиновый мешок с вьющейся трубкой, борьба, мол, с

запорами для сторожей наипервейшее дело. Стало веселей. Я уже стал ждать билет ДОСААФ и пачку презервативов – живой человек!

Каморка холодна, мала и убога; а едва масляный нагреватель заработал, из углов, как и ожидалось, стало припахивать ядреной мочой. Всюду, что ни говори, следы предшественников. (К концу жизни с этим свыкаешься.) Зато дальняя часть склада была завалена большими досками, сороковкой, их завозили по понедельникам, они были свежи, радостны и пахучи: запах непреходящей хвойной новизны. Бродя по складу, я наткнулся на шаткую тумбочку и тут же отволок в каморку, чтобы поставить на нее пишущую машинку. Помню проблему: тумбочка не влезала, мне пришлось отпилить у нее целиком угол вместе с ножкой – треугольная, она сразу нашла, угадала в каморке свое место.

Торец склада не занят, пуст и гол, мне пришла мысль позвать кой-кого из художников, среди которых я тогда терся, – пусть распишут. Можно орнаментировать или устроить показательный Страшный суд для недругов (и друзей). Или зеркально развалить пространство надвое, как даму на игровой карте: простор! Или же – одну большую и дерзкую абстракцию... Телефон только на железнодорожной станции, но я туда пошел, не поленился. После получасового препирательства с дежурной, после долгих ей разъяснений насчет *эстетики склада* я сел наконец на стул в диспетчерской рядом с телефоном. Как только приближался поезд, меня выгоняли. Но все же я сделал несколько звонков. Васильку Пятову, Коле Соколику и Штейну Игорю, известному своими абстракциями. (Ему первому. Он страдал от отсутствия больших плоскостей.) Однако все они не захотели в такую даль тащиться, а Петр Стуруа, как выяснилось, умер.

Перелески. Опушки. И какая пустота! И в то же время какая жизнь пустоты – жизнь чистого пространства как простора, то есть в качестве простора.

Да и сам этот бесконечный зеленый простор был как заимствование у вечности. Простор как *цитата из вечности*.

Мне давалось в те дни ощутить незанятость мира: тем самым подсказывалось будущее. Уже через месяц-два жизнь привела, пристроила меня в многоквартирный дом, в эту бывшую общагу, где коридоры и где вечная теснота людей, теснота их кв. метров – дощатых, паркетных, жилых, со столетними запахами.

Так что в последний раз мое «я» умилялось идеальной и совершенной в себе бессюжетностью бытия – вплоть до чистого горизонта, до крохотного, зубчиками, там леска. А если глаза, в глубоком гипнозе, от горизонта все-таки отрывались, они тотчас утыкались в пустоту и в гипноз иного измерения: в ничем не занятый (так и не зарисованный абстракциями) торец склада.

И удивительно, как обессиливает нас общение с ничьим пространством. С ничейным. Никакой борьбы. (Как ноль отсчета.) Живи – не хочу. Тихо. Трава в рост. И петляет ровно одна тропинка.

Я дичал. Я мог разучиться произносить слова. Агэшник все же не из отшельников, хотя и ведет от них родословную. Ни живого голоса, а до ближайших двух деревенок далековато, как до луны (как до двух лун). Получая первую зарплату, я подумал: хоть тут поговорю с начальником. (Он наезжал ровно раз в месяц.) Но сукин сын даже не спросил, как дела? – молча мне отсчитал и уткнулся в желтые бумаги. А когда я, помяв купюры, сам спросил у него, как дела? – он замахал рукой: мол, нет, нет, уйди, изыди.

– Водки нет. Самогон в деревне, – бросил он коротко, не подняв от бумаг заросшей башки. И тотчас во мне заискрилась мстительная мысль: пустить по-тихому сюда, на склад, деревенских дедков-самогонщиков, пусть попожарят.

Я впадал в полубоморочное состояние, как только вспоминал, что в следующем месяце тоже тридцать дней. Я поскуливал. Тогда же я стал негромко разговаривать, дерево – вот собеседник. Привезенная (где-то срубили) большая веселая сосна пахла великолепно. Радость тех

дней! А когда сосну распилили и увезли, я ходил кругами, где прежде она лежала: я думал о ее оставшемся запахе. Я топтался на том месте. Я брал в руки щепу, удивлялся. Запах плыл и плыл, – стойкий, он удержался в столь малом куске дерева, отщепенец. Сконцентрировался. Сумел.

Чуть не бегом я уже с утра отправился в «Солнечный путь», захватив клистир как сувенир. Я предлагал оставить его на память, но деревенские деды только косили на клистир линиями глазами. Качали головой. Я уехал.

* * *

Мой послужной список: истопник, затем наемный ночной сторож (НИИ с Ильичем), затем склад (с пустым торцом) – и вот наконец общага-дом, где поначалу я лишь приткнулся к кочевью командированных в крыле «К», на одну из их матросских (шатких) коек. Койка шаткая, а оказалось, надолго: сторожение, как и все на свете, сумело в свой час пустить корни.

В это же время (параллель) Веня расстался с женой и определился в психиатрическую лечебницу, где он и поныне. Тоже надолго, навсегда.

* * *

Но квартиры жильцов (уезжающих на время) я пока что не сторожил: не знал идеи. Приглядеть за квартирой впервые попросила моя знакомица Зоя, экстрасенша Зоя Валерьяновна. Как раз в то лето она уезжала на юга греть своими исцеляющими руками спины и почки номенклатурных людей. Зоя уже и в то время жила на Фрунзенской набережной, в престижном доме. Квартира с первым для меня запахом. Целое лето. Жара.

Собаку (невоюющая, ко всему готова, дворняжка) один раз в день накормить и на пять минут вывести – вот были все мои дела. Да еще с субботы на воскресенье (раз в неделю) ночевать, чтобы горел уик-эндный свет, мол, жизнь идет; мы дома. Помню *падающие деревья*, окруженные строгим каре стен.

Это были тополя – во внутреннем дворе дома они (мало солнца) вытянулись до той чрезмерной высоты, когда корни уже не могут держать. Не способные жить столь высокими, деревья стали падать. Каждое падение разбивало «жигуль» или «москвич» (тогда еще не было «мерседесов» и «опелей»), а иногда сразу две машины. Сбегались зеваки, а я шел мимо с собакой на выгул. Дерево распиливали, рубили ветви, растаскивали по кускам. По счастью, падали деревья ночью, часа в четыре, в безлюдье. Каждое утро (пока машинам не нашли срочно стоянку) лежало новое, только что рухнувшее дерево, все в свежей зелени листвы, поперек придавленной несчастной машины.

* * *

– ...В особенности к ночи. Он стонал. А они ему каждое утро записывали: «негромко был». Вой тоже вид стона.

– Понимаю.

– Скорый консилиум тотчас навесил Венедикту Петровичу то безумие и ту агрессивность, какую лечат, блокируя серией инъекций, – объяснял мне врач Иван Емельянович.

– А Веня уже ни на кого не бросался – он всего лишь стонал?

– Всего лишь.

Теперь (прошла четверть века) можно и по душам поговорить, можно рассказать родственнику правду – можно и поподробнее. Да, все три серии уколов Веня получил тогда же сполна. Они охотно его кололи. Три серии. Чтобы без промаха. Он стонал...

Врач-психиатр Иван Емельянович, меж больных и их родственников попросту *Иван*, пришел в больницу заведовать уже в нынешние времена, стало быть, человек новый. Главный. И понятно, что, как бы отвечая (комплексуя) за закрытость психиатрии брежневских лет, он старался для нас, родственников больных, быть по возможности открытым и доступным – открытость льстит обеим сторонам.

Особенно доверителен и откровенен Иван Емельянович был с неким Шевчуком, преподавателем МГУ; Шевчук не таился и в свою очередь откровенничал с двумя-тремя из числа приходящих родственников, после чего волна разговора устремлялась еще дальше и шире – к нашим берегам. Обмен информацией меж родственниками совершался чаще всего в той толкотне больничного коридора, когда все мы с сумками и набитыми едой пакетами ждали часа свиданий. Ключ-отвертка с той стороны клацает, и – наконец-то! – так медленно открываются, отползают тяжелые оцинкованные двери. Шевчук лечил здесь жену. Этому Шевчуку Иван куда подробнее рассказывал будто бы и о жертвах былых лет, и о врачах. (Меня интересовало.) Он будто бы поименно характеризовал Шевчуку врачей, слишком активных в деле, а ныне уже уволенных или просто ушедших на заслуженный пенсионный покой. (Притихли. На дачах закапывают свои ордена. Возле яблоньки. Шутка.)

Психиатр, так уж водится, более открыт для людей интеллектуальных профессий. (Я шел за писателя. И я еще сколько-то надеялся.) Но сравнительно с Шевчуком мои разговоры с Иваном Емельяновичем были много скромнее. Я, увы, несколько запоздал, замешкался и уже не входил в элиту к нему приближенных, а мог бы!

По слухам, преподаватель университета Шевчук однажды сказал, не без той же лести, Ивану Емельяновичу – хорошо, мол, именно вы пришли к нам заведовать, совесть чиста и руки ваши не запачканы. Иван ему ответил:

– Это как смотреть на руки. Я шприц тоже держал в руках: колол таких больных.

Шевчук замялся и несколько обалдело посмотрел на него (на его руки). В растерянности спросил-уточнил:

– Но... вам предписывали старшие врачи. Вы были... просто врач-ассистент, проходили практику?

– Верно. Но все-таки я колол.

Конечно, и этот короткий пересказ-легенда работал не против, а на Ивана. Мол, вот он какой. Прямой. Честный. И весь современный, весь на виду. Пусть даже это всего лишь имидж. В конце концов, современность – не более чем рамка. (Как в театре. Модные роли приятно играть.)

Я, увы, с некоторым подозрением отношусь к людям, которые слишком уж точно совпадают с ориентирами времени. То есть не спору, может быть, Иван Емельянович и впрямь был таким: прямым и честным – а может быть, он таким стал, *оттолкнувшись от прошлого*, что для нас, для приходящих родственников, в общем-то, одно и то же.

Вопрос о том, как или каким образом залечили моего брата, не мог не всплыть. При том, что Иван Емельянович сам же и назвал словом *залечить* (в другой раз, на миг задумавшись, он варьировал так: интеллект взрослого человека *насильственно погрузили в детство*). Психиатр и тут не стал отмежевываться от прошлых лет, что делает ему честь. Он не стал перекладывать – мол, кажется, *они* лечили так, а может быть, этак. Он все назвал. Когда человек профессионал и к тому же (не одно и то же) достаточно беспристрастен, он умеет объяснить и назвать просто, точно.

Иван Емельянович сидел за своим столом – человек, физически заметно сильный. Моих лет. Даже, пожалуй, за пятьдесят пять. Крупный, большой мужчина, с громадными руками. А речь словно струится – медленна и точна.

Возможно, в эти дни я навязывался и слишком уж лез к нему в душу (в близкое, душевное знакомство) – хотел быть как Шевчук.

– А вот Гамлет? Принц Датский?.. Болен ли он с нашей, с нынешней точки зрения?

Получилось, пожалуй, глупо. (Я сам от себя не ждал, то есть про принца.) Но ведь я философствовал, приставал именно что в одеждах писателя, выпрашивая больше, чем допускали рамки беседы с врачом.

Но тем заметнее, насколько Иван Емельянович был со мной терпелив. Участлив. Тут ведь в игре был не только я, но и Веня. Венедикт Петрович, хоть и не числился диссидентом, все-таки, вне сомнений, мог быть отнесен к пострадавшим. В общении с ним всякому врачу (врачишке! – ярился я), даже и главврачу, следовало все-таки быть и чувствовать себя виноватым.

– Что Гамлет! Гамлет молод... У Венедикта Петровича сейчас проблема биологического старения. Болезни ведь тоже стареют. Вместе с человеком.

– Это же хорошо?

– Как сказать. Возраст и возраст. Тут есть существенная разница: наша болезнь, старея, не дряхлеет.

А Веня, конечно, дряхлел. (Без свежего воздуха. На больничном питании.) Не только врачу, но и родственнику тоже следовало слышать за собой вину, если за эти десятилетия он жив-здоров. Так что, возможно, мы оба сейчас виноватились, каждый по-своему.

И не делал Иван Емельянович из больных ангелов, вот что подкупало. Психическая болезнь страшна. Чаще всего неизлечима. Когда вдруг, по ходу нашей беседы (сидели в ординаторской), из отделения буйных донесли крики, он мне сказал:

– ...Слышите?.. Там буйные. Это Сугудеев. Без нейролептиков не обойтись. Бросается на людей. Калечит их, если зазеваются.

Развел руками:

– Выхода нет.

И рассказал, как ловко Сугудеев, уже в рубашке, сумел притвориться: попросил воды и, высвободив руку, ухватил медбрата за волосы (сколько раз говорено: по одному в таких случаях не подходить!). Ухватил за волосы и бил его головой о пол. Медбрат не мог ни кричать, ни позвать. (В согнутом положении звуки нечленораздельны.) Медбрат выл, и второй медбрат, покуивая в конце коридора, полагал, что воет сам Сугудеев, и пусть!..

* * *

Поминутный микрокивок головой, означавший полное и честное согласие с жизнью: да... да... да... Шли на укол вместе, ели и пили вместе и с жизненным итогом своим тоже соглашались все вместе. Здесь тихие.

Здесь никто не кричал. Зато вся палата кивала. Сидели на кроватях и тихо кивали. (Лесок, шевелящий листьями в безветрии.) Я у Вени, сидим на его кровати рядом, и вот сколько нам, сидящим, теперь лет – 54 и 51. В больничной палате, кажется, и нет других перемен. А чуть раньше было 53 и 50... Я по-прежнему чуть впереди, в университете на три курса, а теперь на эти три условных единицы, уже не значащие, слившиеся в ничто. Мы так и идем: не спеша пересекаем наше столетие.

Седина все же напоминает, что де-факто Венедикт Петрович меня обошел – его голова бела.

– Хочешь чаю? – спрашиваю.

И, уловив тихий братский кивок: да... – добавляю ему в радость:

– С сушками, Веня!

Сушки, хвала небесам, есть и были в продаже всегда, я приносил пяток-десяток, сушки – это ему из детства.

Иду к медсестре – организовать наскоро маленький чай. Сестра не против, знает меня, приходящего нечасто, но уже много лет. Порядка и профилактики ради она все же повторяет мне их заповедь: нет сгущенному молоку. (На сгущенку запрет из основных – острые края банок.)

– Ясное дело! – улыбаюсь ей. И забираю хранимый у нее наш чайничек.

Тихо в палате, а мы с Веней похрустываем сушками. Кусочки сахара тоже идут под хруст.

И тут я привычно ему говорю. Вспомнил: «Ах, Веня! И почему ты не ударил его тогда...»

То есть того, из тех далеких лет, гебиста, что восседал напротив Вени за столом во время спроса, когда Веня его дразнил. Кто знает, вся, мол, жизнь человека могла сложиться иначе. (Не затянись та сидячая дуэль.) Эх, упущен момент! – я даже вздохнул с сожалением, сказав так.

И захрустел еще одной подсушкой. Верил ли сам я, вздохнувший, в возможную Венину жизнь *как жизнь иначе?* – трудно сказать. Слова, терявшие раз от разу часть своего смысла, остались с тех давних лет как повтор. Как о жаркой погоде или как привычное бытовое заклинание, в котором, конечно же, мало пользы, но ведь и вреда нет. Как вздох: кто знает, как оно все обернулось бы – кто знает, Веня! (А кто знает?) Но с человеческой стороны, с нашей, как не вздохнуть, и о чем еще говорить, когда посещаешь тихого больного. О чем говорят все они – те, кто с визитами, с апельсинами на вес (мелкие, зато их побольше), с яблоками, с булочками? Вот и стремишься, пытаешься хоть сколько-то не совпасть по времени с родственниками других больных. Ведь мы стремимся не совпадать не из боязни многоголосия и шума меж собой, то есть не потому, что мешаем друг другу, и не из интимности родственных чувств. А потому лишь, чтобы другие не услышали наших чудовищных (для чужого уха) повторов, нашей непреодолимой раз от раза пустоты и истощенности родственных отношений.

Но я старался. И про удар ему объяснял не совсем уж впустую, не просто гнал слово к слову, как засидевшийся родственник. Я все еще хотел (не очень верил, но очень хотел) вырвать Веню усилием из его тихого помешательства. Подумай, подумай, Веня. Напрягись! Твое усилие (усилие внутреннее) – это тоже удар, – твой, может быть, главный сейчас удар... Но сначала мысль. Сначала было Слово, разве нет, Веня? Старайся же! Человек внушаем, а значит, зависим от слов и мыслей. Старайся и думай. А ты с усилием думай. Люди думают, не чтобы расслабиться, а, напротив, – чтобы наткнуться на слово, чтобы как в сумерках – чтобы споткнуться и даже ушибиться о слово. Только с усилием, Веня!..

Подталкивая брата к самоисцелению случайным словом, я ничуть не обольщался: я слабо надеялся – как на один из ста. Быть может, на талант надеялся, на его гений, что так процвел в юности, а сейчас даст ему хотя бы какую-то божью сдачу, двадцать копеек с неба. Даст шанс – даст ему тропочку в обход. Овражью или хоть овечью тропу, чтобы вырваться, выйти из растительного бытия, один из ста, но, конечно, для овражьей осыпающейся крутизны нужно усилие, удар, Веня.

Веня молчал, но вот он чуть кивнул: да. И тотчас в палате на всех кроватях закивали тихие идиоты: да... да... да... уколы в зад, санитары, ночные горшки, клизмы и мухи, да... да... нам бы всем заполучить помощь с неба, обрести этот чудо-удар, пробить двери, стены, выйти, выбежать, выползти, выковылять вон... Возможно, они ничего не хотели и лишь привычно притворялись. Несчастные лживы, как и счастливые. Они просто хотели соглашаться: да... да...

Были ли их поминутные кивки таким уж сплошным страданием (как думается в первый приход посетителю из числа родственников), или же это было привычное их отключение от реальности? их забыть?.. Или даже, напротив: кивки и растянутое во времени согласие были для больных этого рода особо желанным покоем: изысканным отдыхом от страданий.

У них новенький – бывший солдат. Ничего особенного: тихий. Говорят, после очередных отличных стрельб он вдруг из части исчез и только на следующий день был обнаружен на опушке. Сидел он в высокой траве, где только тихо хихикал, когда ему капитан и сам товарищ майор кричали: «Встать!..» В больничной палате солдатик еще не вполне как все. Он кивающий изредка. Но и его подбородок уже мягко, все легче опускается, соглашаясь со случившимся: да...

* * *

– Хочешь еще чаю? – спрашивал я, понижая до шепота голос и отгораживаясь в палате (этим шепотом) с Веней вместе от других больных. Не из жлобства, разумеется, чаю ли жалеть с сушками, а ревниво, из ревности. Мол, мы вдвоем, Веня, пусть нам не мешают.

Нам не мешали. Нам уже давно не мешали, забыли, не трогали с той самой поры, когда Веня перенес на себе (как переносят груз) шизоидную ломку «я» – и ведь он не погиб, хороший, *счастливый* финал, говорили врачи, еще раз детство. Могло быть хуже. Могло быть хуже, чем *детство*. Врачи уточняли, что, если Веня иногда улыбается и говорит мне несколько тихих, но вполне разумных (отмеченных несомненным умом) слов, это, конечно, не значит, что мой седой брат поправляется, – это он так живет, тянется листком к солнцу, как всякое живое. Как растение.

Зато он умел припомнить. Для стареющего Венедикта Петровича в припоминании из детства содержалась некая трудная игра – в этом был, возможно, последний оставшийся ему по силам интеллектуальный поиск. (Вспомнить и тем свести личные счета с Временем.) Брат словно бы пускал корни в детские годы, продвигаясь туда, как в загустевший земляной пласт – в глубокий слой, где глина и уже камень. Там время начиналось. Где-то там подталкивался изначальный первый вагон, а с ним второй, третий, которые в свой черед, удар в удар, подталкивали четвертый и пятый. И вот уже весь состав тихо содрогался, полз, переходя из дробного в постепенное, сороконожечье, плавное движение бытия. Из прошлого – к нам, из детства – в нашу нынешнюю жизнь, как скромная попытка: осторожный, ящеричный выполз Времени.

– ...Почему ты его тогда не ударил? Ах, Веня, Веня! – повторяю я, как повторяют от нечего сказать. Повторяю с чувством, но как уже уставшее (от лет) заклинание.

Запоздавшие слова, лишившиеся и мало-мальского реального смысла в палате тихих дебилов.

А седой Венедикт Петрович неожиданно пугается. Он вжимает голову в плечи. Молчит. Он испугался послышавшейся ему укоризны (в моем вдруг зазвучавшем голосе).

– Ну-ну, – спохватившись, я успокаиваю, ободряю. – Ну-ну, Веня. Распрями спину. Я вовсе тебя не браню. Рассуждаю. Рассуждаю вслух, просто слова, Веня...

– Да, – он кивает; услышал.

– Просто слова... Болтаю. Становлюсь по-стариковски болтлив. Сейчас я рассуждаю о том, что удар – это суть мироздания.

С удачно подвернувшейся фразы я развивал ключевую мысль: удар – вовсе не агрессия и не боксерская перчатка, целящая в чужую рожу; нет и нет, Веня; *мир удара* бесконечно богат жизнью. Мир удара безбрежен и пластичен, удар и есть собственно жизнь, молния правит миром. (Молния правит! – сказал уже Гераклит.) Удары-откровения, когда человек вдруг прозревает. Когда прозревает последний – самый распоследний и пришибленный. Духовный прорыв, Веня. Тебе нужна мысль. Тебе необходимо взрывное напряжение духа...

Так, присев на больничной кровати, говорил я брату, старший младшему, стареющий стареющему, – мы словно бы в ту минуту вдвоем. (В палате тихо. Убогие улеглись: дремлют.) Венедикт Петрович слушает. Он всегда слушает и так щемяще-покорно смотрит, посматривает

на меня – он не понимает, о чем я говорю. Но ему хорошо. Ему тепло. Когда родные говорят, понимать не обязательно.

Лишь на какую-то секунду былой интеллект оживает (секунда-другая, не больше), и вот Веня поднял глаза, с набегавшей в уголках губ робкой улыбкой – набегать набегала, но на лице не возникла. (Улыбке страшно самой себя. Своей былой гордыни.)

С этой вот мягкой недоулыбкой Венедикт Петрович вновь глянул на меня и осторожно берет мою правую руку (ударную) – берет в свои. Проводит тонкими пальцами по жилам, по тяжелой моей кисти, как бы рисуя мою руку, – он в нее всматривается.

Потом тихо-тихо произносит:

– Господин-удар?.. – и тут же смиряет – гасит ее, еще и не возникшую робкую улыбку.

Я рад ожившей его мысли. Хотя на миг. Хотя на один еще малый миг! Напрягись, Веня...

А меж тем замечание его из особых (замечаний!), да и шип из его прежних, острый. Дескать, молния правила и будет править миром, но человек-то и править не правит, а подражает.

Человек не есть Удар, а всего лишь господин-удар, двуногий миф, слепок, отражение, образ, сведенный с горных круч себе на потребу, – нечто сочиненное, а значит, придуманное самим человеком себе же в цель и в угоду. (Как сразу он мой духовный взлет осадил. Указал место. Еще и прикнутил.) Недоговорил, а ведь по сути он сказал еще жестче: *рукосуй*. О моей жизни. Я слишком долго рассуждал и (пусть невольно) подсовывал ему себя в пример, вот и он тоже (пусть невольно) добавил к портрету. Штришок.

Пробудившаяся мысль была точна, но настолько же и жестка. Удивительно: едва ожил его полуспящий ум – на миг, на полмига! – как тотчас ожило и юношеское Венино высокомерие (высокая мера?). Я бы усомнился в качестве реплики, даже и факту ее существования не поверил бы, не услышь я ее в больничной тишине собственными ушами. Жил ли его гений всегда и только в сплаве с присущей ему надменностью. Неделимый вообще – неотделимый и от надменности. (С ней в сплаве и умер?)

Веня сам же и напуган (потрясен) своей ахнувшей смелостью, заморгал, заморгал глазами – и вжимает голову в плечи.

– Скажи что-нибудь еще, Веня.

Качает головой:

– Нет, нет...

– Веня. Ну, попробайся! Прошу тебя. Скажи еще.

– Нет...

Он не отпускает мою руку. Задержал. Прикосновение? Нет-нет, он вовсе не настаивает на антиномии: прикосновение – удар. Это уж слишком! (Он вовсе не сравнивает наши две жизни.)

Или предупреждает он меня – о чем?.. Из страха или, как мне кажется, из какого-то еще, опережающего этот страх чувства, Венедикт Петрович просто хочет прижать к своей щеке, к лицу мою руку – но (весь в сомнениях) столь пещерного проявления родства он тоже боится.

– Расскажи ты. Что-нибудь, – просит он. Он вдруг утомился общением.

Он устал, и, в сущности, он просит у меня простоты отношений. В конце концов, он больной человек – не умеет, не хочет уметь думать.

И тут, ослабляя нить, я тоже осознаю, что в прочтении жизней двух постаревших братьев не было и нет противостояния – нет и противопологающей, как в романах, правды. Смысл начинает не светить, а мерцать. Братья встречаются и видят друг друга. Через одно, через два десятилетия, да хоть через полжизни, но братья встречаются – вот правда. Веня (он отключился, устал) уже не в силах принять в себя никакую мысль, даже и самую примирительную. Старейший Венедикт Петрович склоняет голову чуть набок, кося глазом (симптом – ищет упавшее на полу зерно). Седая голова. Год за годом. А зерна все нет. Я сижу рядом, жест род-

ного человека, теперь я взял его руки в свои. У него удивительные руки. Заметив, что я разглядываю, он вдруг отнял их и прячет в рукава больничного халата, как озябший. Руки гения.

Похоже, что мой брат еще продолжает вяло (остаточные ассоциации) думать о руках, о прикосновении, потому что вдруг просит меня:

– Расскажи про поезд. Про тот поезд из Ташкента...

И улыбнулся:

– Про ту женщину. Смешно было – расскажи!

Я кивнул: ладно. Тоже вспомнил. Засмеялся. (Забавный случай.)

И действительно: поезд шел из Ташкента. Трое суток. А жара немыслимая – люди, чемоданы, ковры, в купе тесно и чудовищная духота. И вдруг восточная женщина. Красивая. (Рассказ о прикосновении, Веня! Я тоже, как видишь, не чужд...)

Красивая, она не подымала глаз. И прямо передо мной, сложенные на коленях, ее изящные руки с мягкими негремящими браслетами на запястьях. (Казалось, неяркие браслеты тоже не поднимают глаз.) У меня было тряское нижнее место – у нее тоже. На заработках одичавший, полгода без женщин, я чуть с ума не сходил.

Раза два мы, кажется, с ней переглянулись, и вот, едва легли спать, я тихо протягивал руку к ней, а она осторожно – под столиком (вагонный откидной столик) – тянулась рукой в мою сторону. В купе ночь, только заоконные всполохи. Смуглая рука. Браслеточка. Едва-едва видна. Но так медленно, так робко ее рука продвигалась в мою сторону, ну, по сантиметру, ах, этот Восток, мучительный и томящий. Я уже изнемог. А ведь наградой станет лишь простенькое прикосновение. (Да и чего хотеть еще в вагонном купе, где четверо и где завтра уже с утра все мы начнем хлопотать и собирать вещи.) И как же медленно движется эта чувственная узкая ручонка. Поезд грохочет. В купе совсем темно. Вот наши пальцы соприкасаются, и в тот же миг какая-то маленькая многоногая среднеазиатская тварь переползает с моей руки на ее. Сидела, поди, на обшлаге моей легкой рубахи и долго думала, как бы ей перебраться на ту сторону, где больше пахло родной стороной. Дикий визг. Попутчица кричит не умолкая; все купе разбужено. Ее муж спрыгнул с верхней полки, врубил свет и яро глядит туда-сюда, а она все вытаскивает и выбирает из-под своего халатика фантом уже давно убежавшей мелкой твари. Муж (как и я, русский) бьет кулаком по щели, в которую шмыгнуло насекомое, – он так колотит, что слышится треск перегородки, и теперь с криками и воплями начинают возмущаться спящие в соседнем купе. Наконец ночь берет свое. Тихо. Муж положил на полу дыни. (Считается, что насекомые из всех щелей соберутся на пол, на запах.) Мы спим. Стук колес. Одурающе пахнет дынями. В среднеазиатских дынях нет яркой наружной желтизны, потому что солнце вошло внутрь плода, там и затаилось, себя не выдаст: Восток!..

ИДУ, РУКИ В КАРМАНЫ...

Иду, *руки в карманы*; мой сторожевой проход по коридору как одомашненный ритуал.

И почему в таком случае не погреться в пути у чужого огонька? (Если нет своего.) Жигалины, 440-я, с мужиком мы даже приятельствуем – водочку пьем, поигрываем в шахматы. Виктор Ефремыч Жигалин всегда мне рад, да вот женка недолюбливает (и есть за что, за шуточки). Как-то нас запилила, мол, пора спать, поздно для шахмат – жена как жена, нормально, а Жигалин в шутку ей грозил: «Смотри, Елена. Сбегу!..» – то есть из дома сбежит. Я в задумчивости (позиция, видно, была сложна), уже занеся ладью над шахматной клеткой и колеблясь, сделать ли ход, тоже вякнул – ленивым голосом. Я и сам толком не слышал, что сказал: «Зачем тебе сбегать. Может, рано умрет. Вот наиграемся!..» Зато она слышала. Жаль. Жены подчас не понимают прелести случайно вырвавшегося словца.

Общажники в большинстве своем уже дома, вернулись с работы – и сейчас же за стол к тарелке, к супу с мяском, или к телевизору. Их кисловатый житейский дух, заполнивший жилье (я его чую), густ, смачен, напирает и уже выступил наружу в коридор на внешней стороне дверей, узнаваемый, как варфоломеевский крест. Им не до бытия: им надо подкормиться. (Новости ТВ – та же подкормка. Им бросают, как сено коровам.) В коридоре пусто. Иду. Руки в карманы. И тоже, клок сенца, могу подбросить своему «я» минуту изысканного удовольствия, ощутив себя коридорным философом-стражем, стерегущим как-никак их зажеванное бытие. Стережущий сам по себе. Стережущий вместо них и за них (но не для них).

457-я. Тоже ведь колебался – зайти ли?.. Но меня зазвали. Влад Алексеич Санин. Покурили с ним в коридоре, он с предвкушением говорит: давай, мол, посмотрим футбол-хоккей?

И меня потянуло: на старомодный их диван, на теплый, откинулся на спинку, и никаких дум, телевизор как пуп земли, а на экране оно движется. Неважно что. Оно. Но я еще колебался, как вдруг Влад Алексеич говорит – *борщ*, там, мол, уже борщом пахнет.

Вошли; и Влад Алексеич тут же, как хозяин, как с барского плеча, даю хоккей, даю и все остальное – жена, борщ на стол! гость у нас!.. Жена славная, милая, немного скривилась (я для нее как божок). Но женщина себя уважает, хозяйка, деться некуда – и вот тарелка борща передо мной, горячий, дымит, чудо. Еще не ел, а уже доволен. (Есть такие собаки, удовлетворяются запахом – смотрят на еду, пасть не разинут.) Я сидел уже вполне счастливый. А из комнаты, что в глубине, появился с недовольным видом их зять. Ах ты, боже мой. Ну зачем он вышел? (Я вспомнил: и сам Влад Алексеич, и его жена от зятя зависят. Зять в одной из только-только появившихся коммерческих структур – зарабатывает! Он может купить квартиру, не общажную, а настоящую городскую. Но, конечно, может и не купить.) Он постоял с минуту. Зять как зять. Постоял свою затянущуюся минуту и говорит медленно (не хамски, однако же со смешком) – гостей, мол, зовете! ну-ну!..

Я поднял от еды голову. (Я тоже умею медленно.)

– От тарелки борща еще никто не обеднел, – говорю, мол, известная истина.

Зять смолчал. И – в смежную комнату. Ушел.

Но вышла оттуда жена Влада Алексеича – и, слово за слово, кричать. (Кричит она вроде бы на него, на Влада, но кричит, конечно, на меня.) А я ем – я медленно: и борщ медленно, и картошку, и хлеб, ах, свежий!

Вошла дочь (у них две комнаты, ютятся, выплыла с сыном на руках). А пусть малыш немножко подышит в большой комнате (то есть в этой). «Ты бы, дочка, на улицу с мальчиком вышла...» – мать ей. «На улицу?! Да у меня обуви нет! Ничего нет! Не в чем мне на улицу!» – завопила дочка, вся в слезах, крик, брань. Теперь они обе разом на Влада Алексеича – мол, не умеет он жить, не умеет быть хозяином, не умеет ладить с зятем. Несут они Влада Алексеича, как с горы... Но ведь тоже понятно: ругают его, а слышно мне.

Я все же сказал. (Вновь медленно.)

– Дали бы поесть спокойно. Если уж налили борща.

Однако на меня ноль внимания, ноль слов. Несут бедного Влада – экий муж, ничего не нажил, не наработал! сам голь, с голью водится...

А Влад Алексеич, как я, – тоже спокоен: доел борщ, включил телевизор. (Все, как обещал. По полной программе.) Дочка даже взвилась – мол, мальчику, малышу сейчас бы нужна сказка, а не хоккей.

Я тихо-тихо ей возразил – мол, настоящий парнишка обойдется без сказки, а вот без хоккея нет.

Выскочил из-за двери зять. (Подслушивал, что ли?)

– Вы по какому праву вмешиваетесь в разговор?

– По праву гостя.

– Гостя? – сделал вид, что не понимает смысла слова.

– Да, – уточнил я. – Да. Был зван.

И Влад Алексеич подтвердил (негромко):

– Гость у нас.

Они смирились (они вдруг и разом смирились). Не только со мной, продолжающим у них сидеть и медленно жевать. Но и с квартирой, с теснотой, с холодной погодой – и вообще со всем, что вокруг них. (С жизнью.) И так тихо, мирно стало. И ребенок хоккей смотрит, ему нравится!

Всем – хорошо. И люди мы хорошие. Пошумели, пар выпустили, ведь тоже надо. (Я-то загодя знал, что на ссору их не хватит, пороку нет.)

Тишина сошла на нас. Та самая, *семейная*. Сидим вместе, ужинаем, друг друга спрашиваем – а вам еще налить? а кусочек-другой мяса? а хлеба, такой свежий!.. Я почувствовал свое тело в уголке дивана. (И в отклик телу слежавшееся тепло – мое или диванное?) Вытянул вольготно ноги, откинулся на спинку. На экране хоккеистов вытеснили теленовости. На пять минут – коротко и энергично. (Люблю нашу новь. Молодцы. Бдят!) Я совсем разомлел. Как раз запахи борща и жаркого сменились жасмином заваренного чая. И еще печеные ватрушки, я чуть не вскрикнул. Да и хозяйку проняло. Лицо разгладилось (бабья рожа, но с каким счастьем в глазах!). Несет мне и Владу по чашке чая. И блюдце, на блюдце глазастые ватрушки.

Я даже подумал: ватрушки – лишнее. Уже, мол, взял свое. Расслабился. Даже забыл, у кого я, и Влада Алексеича (как глупо!) вдруг назвал Серегой.

Семейная минута – это как после долгой зимы, как первые липкие кленовые листочки. Долго на них смотреть, конечно, не станешь. Но если минуту-другую...

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК ТЕТЕЛИН

Тетелин погиб, когда купил себе столь желанные твидовые брюки в торговой палатке, что прямо под нашими окнами. (Сюжет «Шинели».) Тетелин считал, что брюки ему длинны, тихоня, а ведь как осмелел: швырнул брюки обратно в пасть палатки, требуя от кавказцев деньги назад.

Деньги не вернули – тогда Тетелин явился в отделение милиции, стеля там в голос и пытаясь всучить жалобу. Но и менты письменную жалобу, как водится, не принимали. (Им, ленивым, после отчитываться. Да ведь и не их дело!) Тетелин наседа, но и кавказцы из палатки, тоже взволнованные в связи с милицией, стали подстергать его, бегать за ним по этажам общаги и пугать. (И вновь вбрасывать Тетелину в комнату купленные им брюки. Он швырял брюки им в палатку – они ему в комнату.) «Я им докажу!» – кипятился маленький Тетелин, а ему 54 – инфарктный возраст. Неделей позже, уже с инфарктом, когда его уложили лежать пластом и просили до утра не двигаться, этот Акакий Акакиевич ночью с постели сполз, на четвереньках добрался до злосчастных брюк и укорачивал их ножницами, чтобы утром с яростью швырнуть вновь в палатку (и объяснить наконец кавказцам, сколь короткие брюки он обычно носит). Ножницы у него были тупые, как и он сам. Кромсая, стервенея над прочной тканью, одну штанину Тетелин все же обрезал, укоротил. После чего победно вскрикнул и с повторным инфарктом грохнулся на пол. На полу и умер. (Так и отправившись на небо с брюками в руках – с одной длинной штаниной, другой короткой.)

Я его жалел; и не любил. Этот маленький умудрялся своей липкой духовной нищетой испортить жизнь себе – заодно мне. В общаге нас только двое и было сторожащих квартиры. Конкуренции никакой, могли бы ладить. Но у Тетелина уже была ревнивая мания – стать уважаемым человеком, интеллигентным сторожем, каким, как он считал, стал я. Он подглядывал, подслушивал, крутился возле квартир, в которых я ночевал, а то и подолгу, месяцами жил. (Тетелин не понимал, как это мне, сторожу, такое позволено.) Приглядевшись, он самым жалким образом подражал: крал мои словечки, жесты, походку, вплоть до манеры здороваться и вести легкий коридорный разговор с хозяевами квартир. Верю, что он мучился. (Верю, что он хотел свой кусочек счастья.) Человек надеялся перехватить чужое «я».

Особенно заметно он копировал мою посадку во дворе за шахматами. С сигаретой в зубах. Со смешочками. (И ведь тоже садился за доску! Повторяя механически запомнившиеся первые ходы, белыми начинал и тотчас проигрывал.) Одну глупость Тетелин, правда, сумел сделать вполне сам: сошелся с вдовой, пообещав скоро жениться.

Вик Викыч подсмеивался:

– Твое эхо. Цени!.. Не каждому удастся увидеть эхо.

Я позвонил тогда Вик Викычу и Михаилу – я зазвал их в общагу на поминки с лучшими чувствами, поесть, выпить, поговорить, помер же человек, однако, едва приехали, Викыч опять начал смеяться. Чудовищно, но все трое, прихваченные порывом, мы сидели и смеялись. Не смех сквозь слезы – сквозь смерть. Викыч еще и уверял, что наше похихатыванье – это наша боль, это, мол, и есть всхлипы неформального сострадания. (Всхлипы и взрыды, не успевшие оформиться на выходе из нашего горла.)

Решающие минуты жизни покойного, его героической, уверял Викыч, жизни, достойны пера: вот он после первой инфарктной атаки – еле живой, бледный, полуседой, 54 года, сползает с постели и на четвереньках подбирается с ножницами в руке к купленным брюкам. Он укорачивает их ровно на два сантиметра. Смотрит. Еще на два! И еще на один – чтобы не только доказать, но и показать всему миру, какие короткие он носит брючишки! Руки трясет, ножницы лязгают, но маленький Тетелин упорен и терзает ткань, жить ему осталось минуты три. Ведь как долго стрижется штанина (все еще первая)! Сердце в спазме, сердце сию минуту рванет, однако Акакий Акакиевич вновь и вновь разглаживает на полу свои новые прекрасные

твидовые брюки: смотрит, строг и суров, не отрезать ли еще один сантиметр – не ошибиться бы в жизни.

На седьмом этаже в окружении людей стоит Акулов, бывший офицер, клянет чеченов и кавказцев вообще. Он в офицерской форме. Он недавно демобилизовался и тотчас сошелся с довольно красивой бабой-продавщицей с третьего, что ли, этажа. Уже свой. Наш. Стартуя с хорошо прорисованной площадки (жилье плюс баба), он собирается наскоро получить какую-нибудь инспекторскую должностишку и разбогатеть. (После чего, понятно, дать бабе пинка. Это он может.) Акулов представитель, плечист. Громко, даже зычно он объясняет, что Тетелин честно присматривал за квартирами и берег наше добро, особый, можно сказать, дар, особого рода честность. А вот погубили его не за понюх! погубили, можно сказать, скромную человеческую жизнь! Заодно, кривя рот, Акулов цедит сквозь зубы о распоясавшихся чурках. Знаем мы их! Все кивают, согласны, видя в Акулове некую свежую, вдруг объявившуюся силу. Общажникам он по душе.

– ...Вас было двое. На похоронах вы скажете о нем, – говорит мне (в коридоре) Акулов этак важно. – Слово о товарище.

– Сторож о стороже? – Я чуть переживаю. (Люблю перечить Акулову.)

Уловив смешок, он кричит вслед:

– Что?! – Акулов с большой фанаберией, и именно в коридорах, на виду у проходящих мимо женщин. Крепкий, крутой мужик. Запросто даст по физиономии. Даст в ухо. Или даст хорошего пинка юнцу. Чтоб все видели, знали. – Закисли, заплесневели, эх, вы! как живете?! Надо вас, сонных и ржавых, расшевелить!.. – Смеется. Появившийся уже с полгода-год Акулов корчит лидера. А кончит тем, что еще через год пойдет к этим самым кавказцам сторожить их палатки по ночам. И будет зыркать на нас (на меня, это уж точно!), как на подозрительных, давай, давай, все закрыто, проходи-поторапливайся, рванина! – вот что будет написано на его волевом лице. Точно как у Сапунова. Тоже был боевой офицер.

На поминках, уже за столом, с подачи Вик Викыча опять вспомнили эту навязчивую страсть: Тетелин полюбил (именно полюбил) приятные на вид и на ощупь твидовые серые брюки, что в самой ближней из азербайджанско-чеченских палаток – прямо на глазах и напротив входа в общагу! Брюки висели. Брюки манили. Их чуть колыхал ветерок, а Тетелин, меняясь в лице, ходил мимо них туда-сюда. Он, конечно, обговорил с близкой ему вдовой. Раз десять, жалкий, он шепотом рассказал о твидовых брюках и мне, и всем прочим, он даже признал денег – и купил. И вот он уже умер, поминки, а где, спрашивается, теперь брюки? (А положили ли их хотя бы ему в гроб?..)

Чтобы покойного хоть как-то почтить (и чтоб не смеяться), мы втроем затеяли философствовать, ели, пили и рассуждали: были ли эти брюки для Тетелина материальной ценностью? Или – как знать? – духовной?

– ...Даже для модницы любимая блузка – уже не блузка, уже не тряпка и не одежда. Нечто большее! Знак духовной ценности, да или нет? – раздувал полемику Вик Викыч.

– Одежда функциональна...

– Не вилай, Петрович. Для Тетелина брюки уже не были одеждой. Да или нет? – Мы поддержали: да, да. Согласны. Для погибшего это были уже не брюки, а символ и отчасти сам смысл бытия. Мы разгорячились. (Полемика приподымала Тетелина над уровнем земли – над тем говном, каким он был.) Уже с азартом мы друг другу кричали, что и флаг, кстати сказать, – тряпка. Флаг, знамя – ведь тряпки, но в то же время духовные ценности? да или нет?..

Трое спорящих, мы были фоном: говорливый фон голодноватых людей в поминальном застолье. А рядом с нами обезвреживали мину. В общажное застолье, на поминки пришел Ахмет (искать мира). Тихий, почти бесшумный шаг, никто и не заметил, как и когда он вошел – он появился. Его увидели уже за столом. Ахмет сел с Акуловым и с Сапуновым – то с тем, то с другим говорил негромко и подчеркнуто сдержанно.

Но вот, выпив, Акулов и Ахмет обнялись, поцеловались. Встали оба разом.

– Брат... – говорил один.

– Брат... – вторил другой.

Вперебой оба шумно теперь объяснялись, нет-нет вспоминая о дружбе народов. Надо сказать, Ахмет выглядел почестнее Акулова. (Может быть, честнее, может быть, больший актерский дар.)

Теперь и застолье зашумело. Раздались первые громкие тосты – и вот зовут, позвали наконец, кличут снизу сразу пять-шесть-восемь кавказцев (званы из всех трех палаток). Те приходят с обильной выпивкой. И в трех тазах дымные шашлыки (заготовленные, безусловно, загодя). Любой мир – это все-таки мир. Еще настороженный, хрупкий.

Ахмет в который раз нам всем объясняет:

– ...Тогда мы ему сказали: ну, да, дорогой – длинные брюки. Ты прав. Но укороти их. Они тебе отлично идут... А он все кричал: как? как? как я их укорочу?.. (Ахмет очень старается, чтобы рассказ был печален. Но словам и его выразительному лицу вопреки, смерть Тетелина смешна и при повторе.)

Ахмет продолжает:

– ...Сказали ему: спокойней, дорогой. Сердце побереги. Пожалуйста, спокойней. Как укоротить?.. А знакомая вдова в общежитии у тебя есть?.. А руки у вдовы есть?.. А иголка с ниткой у вдовы есть?..

Ахмет выговорился. И сразу полегчало. Для того и поминки, чтоб сказать о покойном. Брюки Тетелина становятся все мельче, мизерабельнее. Но наш Акулов, как бы не сразу идя на мировую (ища, на кого осердиться) – и вдруг наткнувшись глазом на нас троих, кричит с пьяноватым укором:

– О чем там еще спорят?!

– Нечего, нечего спорить! – тотчас подхватывает Ахмет, стараясь в эту минуту совпадать с Акуловым. Кавказцы из палаток чутки на предмет, чью держать сторону, – уважают таких, как Акулов, и ни на копейку нашего серенького интеллигента. Почему, друг, у тебя такой плохой пиджак – ты такой бедный?.. Тот начинает что-то бляеть, а их веселит смешное слово *инженер*. Вроде как убогий. Да, да, садись, *инженер*, поешь шашлыка, *инженер*.

Уже с очевидностью обе стороны хотели мира, но (инерция) продолжали вслушиваться в каждое громкое слово. Кавказцы почти не пили, а под завесой пылости (вполне декоративной) чуть что настораживались: не приведет ли, не дай бог, смерть Тетелина к массовой драке, к нацеленной ответной мести? или – еще хуже – к милицейской чистке?.. Но наконец и самые из них недоверчивые убедились, что мир; что будет мир и что бывалый общажный люд забит, затюкан, трусоват, а главное, так озабочен переменами и усложнившимся бытом, что всем сейчас не до сведения счетов.

Акулов, завершая речи, говорит:

– Вы у нас – а мы у вас соседи. Но жизнь у вас и у нас одна. Жизнь едина.

Все смолкли.

– Вот за эту жизнь и давайте!.. – Акулов поднимает стопку к небесам. (И опять воинственно скосил глазом на пришлых графоманов, спорящих о разнице между флагом и брюками.)

Стопки и стаканы взлетели вверх:

– За мир! За мир! – кричат разноголосым хором и общажники, и кавказцы.

Михаил, Вик Викыч и я пили-ели с большой охотой – еда по нынешним временам хороша, тетелинская вдова (теперь уже как бы дважды вдова) расстаралась! Тарелочки с мясом. Холодец. Салаты. Она была в черном. Время от времени она сообщала всему столу о том, как люди на этажах ее в ее горе понимают. Отзывчивые сердцем и чуткие, и ведь каждый нашел свое доброе слово! О том, как трогательно ее встретили на пятом (Тетелин стерег там квартиру

и едва не сжег) и на восьмом этаже – и говорили ей, заплаканной, какой удар эта смерть, какая утрата для нас всех. «Осиротели мы...» – так они ей говорили.

А Вик Викыча и Михаила вдовья слеза задела за живое: где еще облегчишь душу, как не на поминках! (Я молчал.) Оба они Тетелина вдруг возлюбили – сторож и изгой, в каком-то общем смысле Тетелин тоже был андеграунд и, значит, агэшник! Не писал, не рисовал, а просто коптил небо. Но ведь наш человек. О нем не причитала семья. И он ведь не отправился в последний путь с некрологом: чужие морды на поминках – вся награда. Нелепая вдовица да еще Акулов! Так и бывает. Агэшник уходит из жизни с ножницами в руках. С брюками, которые еще надо подровнять.

Меня не проняло, я другой.

– ...Наши похороны! наши! – чокались Вик Викыч и Михаил. Оба теперь много пили; и чем далее, тем настойчивее уверяли меня, что, по сути, сидят на собственных похоронах. Это их поминали, и это ради них расстаралась с закусками сожительница-вдова. Для них она сделала землю пухом (то бишь наняла набросать холм могильщиков). Именно про них, уверял Викыч, вдовица в черном так сладко придумала, что и на пятом, и на восьмом будто бы этажах люди сказали в добрую память – мол, без них, умерших, и земля не земля; осиротели.

Акулов, уже густо-красный, бурый лицом (но, видно, могуч насчет выпивки), твердо встал и каменно поднял новую стопку водки.

Стопка в вытянутой его руке даже на чуть не колыхнулась. (Яблоко на ветке.)

– Товарищи! – начал он по-старомодному тост.

Кавказцы тотчас поддержали:

– Товарищи! Товарищи!.. – Кавказцы пили меньше, пропускали, но по зову Акулова ритуально хватались за стопки и зывали к тишине у разгулявшихся к этому времени русских.

Поднесли новый таз дымящихся шашлыков, и женщины подступили к мясу ближе, накладывая щедро всем нам в тарелки. Столовка, что внизу, давно хирела, там травились едой и время от времени выгоняли вора-заведующего, но сегодня шашлыки дивны. Русские вкусно принохиваются, кавказцы целуют свои пальцы: ах, ах, какой шашлык!.. Кавказцы не держат зла. Добродушны. Тем более сейчас, когда за столом заявлен мир и они в кругу друзей. Они всех любят. Обнимаются. Целуются. Обильная еда и крепкая выпивка. Поминальная по Тетелину пьянка – как пир старых времен. Пышно-торжественные, бархатные брежневские тосты – это стиль. Фальшиво, конечно. Но с откровенным желанием расслабиться. Так можно жить годы, десятилетия – с желанием наговорить всем и каждому (и услышать от них самому) безудержно нарастающую гору все тех же бархатных комплиментов. Передать (и переполучить) пайку добрых слов. Тех цветистых словосочетаний, что хотя бы на первое время обеспечат тебе мир, а ему покой в пугливой душе. (Или, наоборот, покой тебе, а ему – мир.) Все обнимались. Плясали лезгинку. Пили за богинь, за русских женщин, подобных которым мир никого не создал.

* * *

Поминки сами собой дробились, переоформляясь в несколько мелких пьянок и рассредотачиваясь – по квартирам, по разным этажам.

Кто куда, мы трое тоже сместились: перешли к швее Зинаиде, с которой я жил в те дни. Зинаиде Агаповне (я думал, таких отчеств уже нет в природе) лет сорок – сорок пять, не больше: все подгоняла меня где-нибудь поработать, – бабистая, жить было кисло. Но Зинаиды, на счастье, дома не было. Мы расселись всласть, закурили. Михаил, как ни рассеян, сумел прихватить в поминальном застолье бутылку водки впрок. Пили. А Вик Викыч, уже пьян, на любые слова выкрикивал в ответ свежий, свежайший афоризм конца века: *стоит ли кромсать брюки, господа?..*

Была еще женщина с седьмого этажа – Рая, безлика, ждавшая от жизни неизвестно чего. Возможно, притащилась за нами с поминок, чтобы краем глаза подсмотреть, как живет Зинаида (какая мебель, какие углы – ну и вообще). Время от времени Рая машинально спрашивала:

– Почему не пьем?

А два слесаря, набежавшие к нам на выпивку (и прогнать не прогонишь, все еще поминки!), тотчас отвечали:

– Наливай.

Стульев у Зинаиды не хватило. Слесаря сидели у стены, прямо на полу. Я им открыл новую бутылку, а они, сидя, как кочевники, пустили ее по рукам (из горла).

Вдруг ворвалась совсем молодая женщина, милая, в жакетике – оказалось, Ася, дочка слесаря Кимясова (одного из сидящих у стены), – искала отца по этажам. Бойкая. Тоненькая, как игла.

– Идем же домой! Пора! – звала она, тянула отца за ухо, пыталась даже поднять.

Михаил в эту минуту завелся о Париже. Багровый лицом, он тычет пьяной рукой в мою сторону:

– Вот!.. Вот кто поедет во Францию!.. – Смысл тот, что все они, пишущие, подохнут здесь, это ясно, но Петрович (то бишь я) должен непременно попробовать Париж. Французы выдохлись, увяли. Но если Петрович временно в том месте поживет, если там бросит свое литературное семя хоть один настоящий русский гений, там может возникнуть целая генерация андеграунда, новая экзистенция. Там все зацветет!.. – выкрикивал Михаил. И советовал, на какой из парижских улиц снять мне дешевенькое жилье. Именно по Парижу, хотя и не только по нему, гонялся полгода Михаил за бросившей его женой...

Водка кончалась. Мне не хотелось в Париж, но мне хотелось Асю. Старый козел. Она уже ушла, уведя отца-слесаря. (В глазах задержался, не уходил ее юный облик.) Видно, я спьянел: хотелось всех их выгнать и сейчас же лечь с Асей на этой вот, на мягкой двуспальной плоскости, где в последние дни, вернее ночи, я мучительно пасовал с Зинаидой или даже уклонялся, избегал ее. Какая постель! – думал я, как я раньше не замечал, какие прекрасные у Зинаиды подушки, одеяло, роскошное ложе!

– Шерш ла фамм. Пардонн муа, – повторяет присужденный Викыч (пьян и весел). – Се муа. Ле руа.

Он немыслимо утрирует прононс, все мы хохочем. Зинаида уже вернулась, сидела с нами, но корявым французским ее не пронять. А вот выкрики Михаила о моей гениальности на нее подействовали. Впервые услышала, какой я писатель (агэшник об агэшнике плохо не скажет). Она сделалась задумчива.

– Пушкин и Петрович! – кричал Михаил.

Отставив стопку с водкой, негромко (семейный разговор, чужие не лезь) Зинаида спрашивала: «Почему? Я ведь считаюсь с нашим возрастом. Не требую много...» Лицо ее приблизилось, черты стали роднее, но ничуть не желанней – бабушка в окошке. Чувственный позыв не возник. Что-то мешало. Возможно, оберегал инстинкт. Ей меня не разжечь, но ведь не сегодня, так завтра она подстережет и свое возьмет. А в страстные минуты в постели Зинаида Агаповна могла оборвать последнюю струну. (Привет от Тетелина. Я вдруг подумал: умру на Зинаиде.) Я скреб вилкой по тарелке, поддевая там остатки еды, следы белка...

Викыч запел, Михаил сразу и легко подхватил мелодию – вот певцы! Когда они заводят на два голоса, хочется тишины, и тишина тотчас возникает. Молчали, только некрасивая Раиса подстукивала в такт: вилкой по звенящей тарелке. А дальше мы просто ахнули: слесарь Кимясов (опять пришел!), выпив очередную стопку, попытался подпеть. Он уже падал. Он совсем не стоял, да и сидеть мог только на полу. Пьянь пьянью, полслова выговорить не мог, но песню, музыкальная душа, пел. Викыч и Михаил прибавили в голосе. Раиса звонко лупила вилкой по

тарелке. Когда слесарь Кимясов вдруг чисто подтянул высоким и дребезжащим тенорком, нас всех проняло. Зинаида расплакалась. Полный триумф.

Я не помнил, как разошлись. В постели Зинаида пристроилась ко мне, но я не шевельнулся. Она прижалась, закинув на меня сбоку все три или четыре ноги, но я не повернулся лицом. Не мог. Я старый. У меня после этого (если без любви и порыва) подскакивает давление и сильно болит правый глаз.

Мне нравилась Зинаида Агаповна днем – на дневном свету, когда сноровистые ее руки безостановочно делали третье-пятое-десятое. От нее пахло настоящей бывалой бабой. Женщина-трудяга. Посматривая на нее, я был почти уверен, что ловкий и по-своему красивый ее труд у плиты, мощная холка, крепкие руки, бедра сделают ее к вечеру желанной. Я даже обещал (себе), что сегодня уж наверняка расстараюсь, но приближался вечер – и наваливался словно бы предновогодний снег, хлопьями, тяжелый, крупный, – на меня, на мои сникшие желания. Я с ходу засыпал, а если почему-то не мог спать, было еще тоскливее. Как-то я просто пролежал рядом с ней всю ночь.

* * *

Мне оказалось нечем платить за ее харч (и за угол, за, как-никак, кровать), и Зинаида, хитрым глазом не моргнув, тут же нашла мне дневную работу: покрасить десяток металлических гаражей.

Сказала, что пристроит напарником к некоему Володьке. Покраской, мол, и расплачусь за блины и супы. Поработаешь денек-другой!.. Но как же ее потрясло, когда Михаил и Вик Викыч декламировали:

Пушкин и Петрович – гении-братья... —

они так громко кричали, Зинаида не знала, что и думать. Она еще со школы слышала про Пушкина много замечательных слов, знала сказки и наизусть романс «Я помню чудное мгновенье...». *Пушкин и Петрович!* – это ее сразило. А меня забавляла ее растерянность, ее вдруг заикающаяся уважительная речь. Пьяному как не повыпендриваться: я надувал щеки, хмурил чело, изрекал и особенно нагонял на нее страх тихим кратким словом: – Да. Гениально. – О чем-либо. О чем угодно. Всякий агэшник время от времени непременно говорит «гений», «гениально», «мы оба гении» и тому подобное. Это (для многих прочих) бритвенно-острое слово мы произносим запросто, находясь с ним в свойских и в давних – в ласковых отношениях. Без слова «гений» нет андеграунда. (Так же, как не было андеграунда без взаимно связанного противостояния с гебистами.)

Когда Михаил или кто еще повторяют, что я гений, у меня чувство, что мне щекочут левую пятку веточкой полыни. Легко. И свежо на душе. Не более того. (Астральные позывные.) А меж тем настоящий гений, мой брат Веня, в психушке ночью жует по одной свои забытые горделивые слезки.

Если же считаться, мне всегда недоставало Вениной восхитительной легкости самовыражения. Мой талант – это талант, но он – как пристрелка, и сам я – как проба. Природа пробовала мной, а уже после, через три года, выдала на-гора Веню. Если считаться... И острого его ума мне было дано меньше, и вполовину его таланта. И лишь малый кусочек его львиного сердца; тоже на пробу.

* * *

Так и не уснул, встал – пошел проверить квартиры. По дороге выпил стопку, зайдя к вдове. Там сидели и кой-как пили поредевшие поминальщики, уже вялые, как зимние мухи.

– Твои – у Ады Федоровны, – сказали.

Ни Акулова, ни кавказцев (зато таз с холодными, но вкусными их шашлыками, последними, на самом дне).

Михаил и Вик Викич и точно у Ады, у крепкой еще старухи, на пятом этаже: она сама, оказывается, выставила им бутылку водки в продолжение поминок. Вдова пожмотилась, ее в застолье не позвала (а ведь старуха хорошо Тетелина помнила, значит, скорбела).

– Садись, Петрович, – Ада Федоровна любит пригреть. Ей скучно. Остатки доброты у женщины сопряжены с остатками жизни. Лет пять назад Ада Федоровна еще трепыхалась, как догорающая свечка: в конце пьянки вдруг доставала заветную четвертинку – и самый подзадержавшийся, поздний по времени мужик, подпив, оставался и просыпался в ее постели. Но теперь все фокусы позади. Болотный тихий пузырь. Только доброта.

Прежде чем Викич и Михаил разбегутся по домам, к своим пишущим машинкам, им надо успеть многое неважное друг другу сказать и немного важное высказать – говоруны-с! – поддразниваю я их, занятых сейчас великим заполночным бдением наших интеллигентов: разговором.

Говорливый соотечественник высоко парит, выше не летают. Огромная культура русского разговора (с выпивкой) затеялась уже в XIX, если не раньше: по причине гигантских расстояний меж усадьбами люди по полгода не виделись, а встретившись, говорили день и ночь напролет. Говорили, уже запахнувшись в шубу. Пока не зазвенит под окнами колокольчик тройки. Пока не отключат телефон за неуплату. Интеллигенция десятилетиями работала, не напрягаясь (в отличие, скажем, от коллег в Западной Европе), зато мы, уверяет Михаил, довели искусство человеческого общения (телефонного, кухонного, в рабочее время, в вагоне поезда) до немыслимой высоты. Разговоры – наши пирамиды. На века.

Михаил:

– Люблю поговорить. Умею. Но наговориться я могу только с Викичем. Не мешай... Полчаса, а?

Викич (тоже вскинулся):

– Не мешай. Да, да, еще с полчаса!

Но тут и я с пониманием величия происходящего (и с некоторой завистью, не скрою) покачал головой, мол, какие там полчаса – уверен, что трудиться еще часа два-три, не меньше, говоруны-с!

Я еще поддразнил – идеальная, мол, пара. Еврей, укорененный в культуре России, и русский, в молодости славившийся антисемитом.

– ...Ну, хватит же, заткнись! – Викичу не понравилось мое напоминание. Между тем исцелил его как раз я, одним антисемитом меньше, – и именно что этим знакомством. В те давние времена, помню, я этак осторожно означил, выбирая слова и готовя Вик Викича к встрече с Михаилом, мол, какой талантливый еврей и какой упорный агэшник!

Их первый разговор, тоже помню, состоялся сразу после знакомства, и сразу же долгий, затяжной, с выяснениями, сильно за полночь. И вот – друзья. Дальше на них уже работало время. Как и бывает подчас в приятельстве, оба легко сдружились, а меня потеснили. То есть я остался их другом, но третьим и уже малость в стороне. И ладно. (Я и тогда не боялся терять.)

Я выпил с ними, но уровень их ночного разговора был уже очень высок, я запоздал. Тут и впрямь необходима общая точка отсчета, старт, но еще более совместно резкий в слове разгон. Я лишь следил, как следит мальчишка, задрав голову, за полетом в синеве чужого бумажного

змея. Но это – тоже умение. Умение помалкивать, получая удовольствие от страстей, которые других сейчас распирают. Жизнь сторожа научила меня просто слушать. Просто жить утро. Просто пить чай.

Но надо еще и квартиры проверить, иду коридором. А встречным мне ходом идут, лучше сказать, бредут бледные привидения раннего утра – знакомые слесаря во главе с Кимясовым. Маленькие, кривоногие и, конечно, пьяные, они продолжают стайкой передвигаться по пустым этажам в поисках спиртного. Не спавший всю ночь отряд, боевая фаланга – почетный караул по Тетелину, по его твидовым брюкам.

* * *

Запив (запой, к счастью, кратки), Михаил звонил слишком часто, а я о том о сем и пересказывал ему новости многоквартирного дома – мол, поговаривают о приватизации...

– Что? – Михаил вдруг смолкал. Приватизация? Квартиры?.. Его универсальный интеллект, словно ручей, наткнулся на преграду и, как верховая вода, начинал обтекать, обегая и справа и слева (и вновь прорываясь к моей душе – как он выражался, к моей гениальности). – К черту квартиры, к чертям быт, что тебе их заботы! – ты существуешь, ты есть! – кричал он. – Ты – гений. Ты – это летучая летняя пыль! ты только не умирай, ты живи... – в голосе его слышались подступившие рыдания.

После выпитого ему (в этот раз) казалось, что мой гений сродни летучей пыли на листьях, на летней дороге. И он не знал, как иначе выразить. Он был нежен в разговоре. Он был незащищен. Он был по-настоящему талантлив, с психикой, лишь чуть покореженной от андеграундной жизни.

Явно поддатый и счастливый общением, Михаил кричал мне теперь в телефонную трубку, что он беспрерывно думает о Тетелине. Да, согласен, может, и придурок, но в этом маленьком придурке билась мысль, и какая мысль! Мысль и урок. Ведь пойми: укорачивал не брюки – он укорачивал свою жизнь!

– Пойми! – кричал Михаил. – Тетелин пояснил нам так наглядно! Ведь я тоже укорачиваю свою жизнь. (Вероятно, пьянством.) Ты тоже – укорачиваешь свою. (Чем?) Каждый человек сидит с ножницами и стрижет, стрижет, стрижет брюки. А знаешь почему? А потому что на фиг человеку некая бесконечная жизнь? В этом и мысль: жизнь человеку нужна по его собственному размеру!

Мысль как мысль: сообщение о духовных ценностях.

Михаил возликовал:

– Ага! Ты согласился, согласился! В этом маленьком плебее и подражателе билась великая и несамоочевидная мысль!.. Когда он с инфарктом сполз с постели и взялся за ножницы – он знал, что делал! Его навязчивая подспудная идея в том и состояла, что один человек умирает обидно рано, а другой, напротив, явно зажился и коптит небо. Разве нет?.. Пойми: у человека есть свой размер жизни, как свой размер пиджака и ботинок.

– И брюк.

– Именно!..

* * *

У Михаила относительно меня тоже имелась навязчивая подспудная идея: женщины (а именно женщины-хозяйки, с бытовым приглядом) должны оставить мой гений в покое. Их место там, вдалеке, говорил он, как бы отсылая их жестом в заволжскую ссылку.

Я смеялся, не мог его слов взять в толк, пока не сошелся со словно бы им напроороченной Зинаидой Агаповной, чуть что заставлявшей меня красить гаражи и заборы. Но главная из

бед, считал Михаил, в том, что я у нее поселился. Это – преступление. Он устраивал Зинаиде сцены. «Вы высасываете из него соки. Да, да. Не имеете права...» – говорил Михаил, сидел за столом, нога на ногу, и помешивал ложечкой кофе, который она ему (как моему другу) сварила. Зинаида смеялась: «Да мне он нравится!» – «А мне нравится луна», – возразил Михаил. И угрожающе добавил, что напишет Зинаидиным сыновьям соответствующее ее поведению письмо (оба служили в армии).

Михаил позволял нам (мне с ней) общаться даже и в постели, пожалуйста! – но... но если, мол, будете жить врозь. Зинаида Агаповна пусть приходит. Пусть уберет, ублажит, накормит. Как приходящая она хороша, кто спорит.

– ...Седой он уже! Пожалей же ты его, старая блядь, – говорил ей Михаил в сердцах. (Настаивал – а мы с ней хохотали.)

– Ты тоже сив, а небось хочешь! – смеялась Зинаида.

– Тебя?!

– Меня!..

Было смешно, и тем смешнее, что Зинаида (себе на уме) тоже была с идеей. Мне удалось ей внушить, что Михаил в нее влюблен (по-тихому) и что все его разнузданные словеса от его затаенной мужской ревности. «Да ну?» – удивлялась она, краснея. «Знаю наверняка. Убежден в этом», – серьезничал я, Зинаида не верила. Не верила, однако с охотой поила его вкусным кофе, чего при ее некотором жлобстве никогда прежде не случалось.

Зинаида Агаповна к ночи ближе становилась косноязычна: то денег не надо, то вдруг повторяла все настойчивее, вот, мол, сколько другие люди берут «с жилья за харч»! Жилец или сожитель? – казалось, мы оба с ней пытались и не могли этой разницы понять. (Этику этой общажной разницы.) Зинаида краснела, смущалась при слове «сожитель», один раз от смущения зашлась кашлем, с хрипом крикнув мне:

– Да ударь же!

То есть по спине. Чтоб прокашлялась. Работала в швейной мастерской, надышалась, пыльное дело.

* * *

Тетелин начался, помнится, с того, что я кликнул его, подголадывающего, как раз к Зинаиде – просто позвал поесть.

Тетелин тогда только-только появился в общежитии, одинокий, неработающий и плюс изгнанный за какую-то глупость из техникума. (Преподавал. Что он там мог преподавать, разве что фирменную жалкость!) Ну да, да, жалкий, ничтожный, и глаза, как у кролика. Но он, появившийся на наших этажах, не был тогда противным. И его дурацкая мечта – твидовые брюки (они каждое утро висели на продажу в растворе палатки) – не казалась тогда дурацкой.

– У меня никогда не было таких брюк, – сказал. (Мы шли мимо. Брюки покачивал ветер.)

– Ну и что?

Он призадумался. Он, оказывается, мог глянуть со стороны.

– У меня не было таких брюк. А у вас никогда не было изданной книги.

Я засмеялся: смотри-ка, и куснуть можешь! молодец!

Первое время я его сколько-то пас, подкармливал и приводил с собой как гостя к людям в застолье – так сказать, ввел. А когда замаячила на восьмом этаже очередная квартира под присмотр, предложил его в сторожа. Так у Тетелина появились первые денежки и род занятий, не якорь, но уже якорек. Вместо благодарности (люди все-таки странны!) Тетелин стал шустрить: у меня же за спиной он пытался перехватить сторожимые мною квартиры. А для этого пришлось, разумеется, наговаривать шепотком на меня лишнее – так началось.

К концу года господин Тетелин окончательно эволюционировал в мелочного сторожа-крохобора, это бы ладно, мало ли где шелухи, но плюс ко всему – оформился в мое эхо. Он наговаривал на меня моими словами и с моей же, уже уцененной, интонацией – и даже не понимал, что он меня передразнивает! Подражал в голосе и в походке. И руки в карманы, сука, держал, как я. Я уже не мог его видеть шагающим в коридоре. (И не желал больше думать о нем как о новейшем Акакии Акакиевиче.) Как тип Акакий для нас лишь предтип, и классики в XIX веке рановато поставили на человечке точку, не угадав динамики его подражательного развития – не увидев (за петербургским туманом) столь скороспелый тщеславный изгибец. Мелкость желаний обернулась на историческом выходе мелкостью души. Недосмотрели маленького.

Когда маленький человек Тетелин отправился на небеса, вцепившись руками в свои плохо укороченные брюки, я, конечно, пожалел его. Как не пожалеть, кого сам опекал. Но лишь на миг. Помню порыв ветра (вдруг, со стороны высоких домов) – с ним, с ветром, и налетела жалость к Тетелину, жалость уже поздняя, и почему так остро?.. Не сороковой ли день? – вот так странно подумалось мне. Подумалось спешно, как думается спохватившемуся пассажиру, хотя отправляющимся пассажиром как раз была (если была) его маленькая, увы, душа. То есть ей (его душе) уже прикрикнули с неба в положенный час. Мол, срок и время, пора! *От винта-ааа!.. На взле-оот!* И, повинувшись, жалкая и маленькая, она тотчас взлетела, случайно или, кто знает, не случайно колыхнув на меня плотный воздух.

Может, совестились теперь на прощанье. Повиниться хотела?

Реакция (моя) была мгновенной и, кажется, не самой гуманной: еще и не сосчитав последние дни, вслед и вдогонку ей (ему) я крикнул – я как бы присвистнул: *давай, давай!* Мол, теперь уж чего, не задерживайся.

* * *

Когда я впервые привел Тетелина к Зинаиде, он был так голоден, что, поев, отключился: уснул сидя. Уронил голову на сытный стол. Спал. Правда, и еда в тот вечер была мощная.

– Тс-с! – говорил я ей, Зинаиде. – Тс-с, не буди!

КАВКАЗСКИЙ СЛЕД

Стоя в засаде (у выхода метро), Веня бросался к идущим людям: «Который час?..» – потом у другого: «Который час?» – отрывисто и настойчиво спрашивал, вызываясь. Словно бы требуя, чтобы люди дали ему во времени отчет. Таксисты его поколачивали. Зубы как раз и выбиты сытыми шоферами, к которым он приставал на стоянках с разговорами. (О Времени как таковом.) Я привел Веню, молчит, рта не открывает.

– Ндаа-а, – сказал лечащий врач, тут же углядев на лице моего брата появившийся шрам.

Привстав, врач протянул руку и быстрым умелым движением оттянул Вене верхнюю губу – посмотреть, осталась ли половина зубов (половина осталась, но не больше). В том году Вене особенно доставалось. Весь январь и февраль (замечательная морозная зима) Веня пытался работать в какой-то конторе, но с весной он уже опять таился в засадах у метро, возле троллейбуса, на стоянке такси.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.